

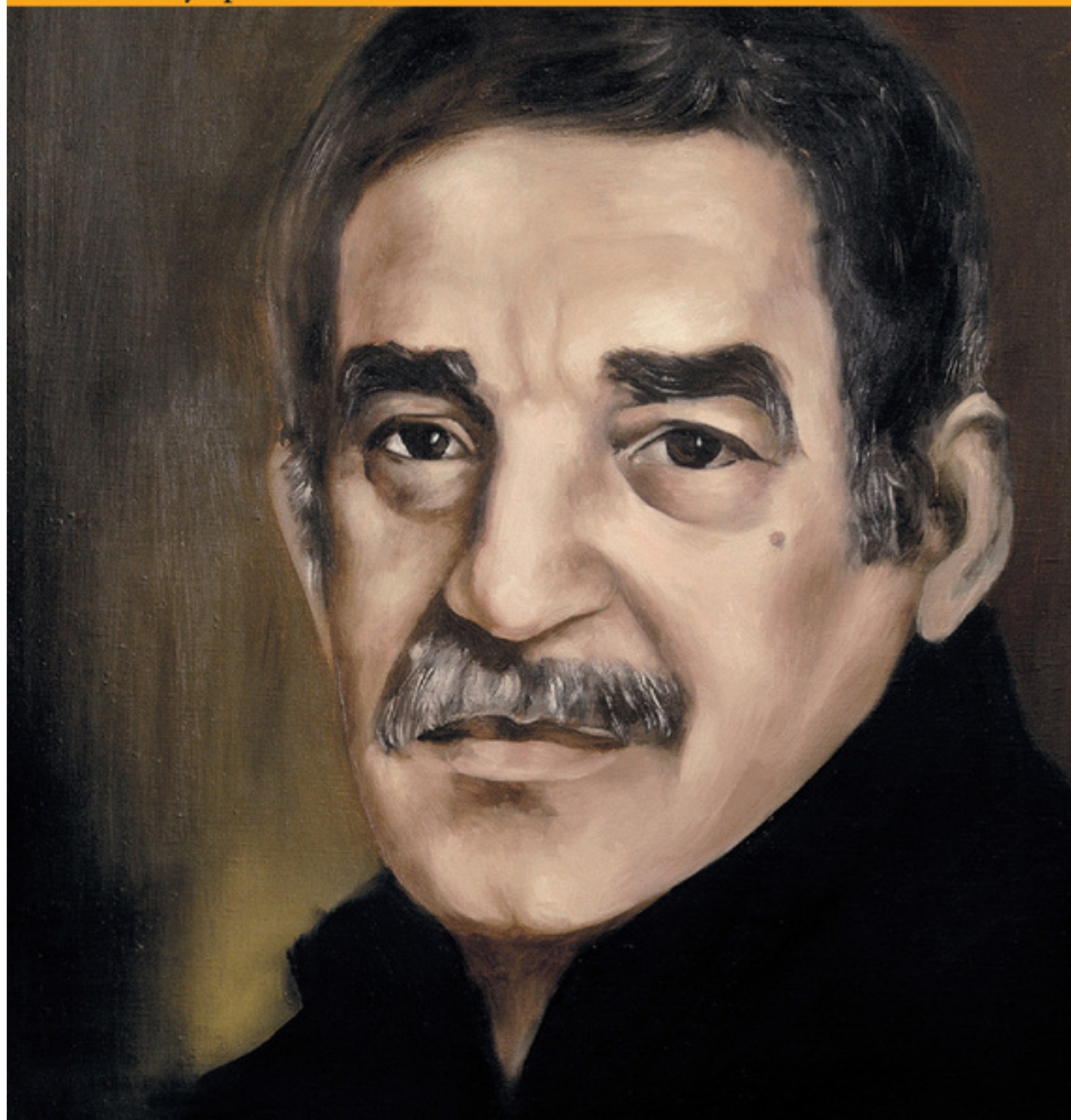
Габриэль  
Гарсиа Маркес



Нобелевская  
премия

Жить,  
чтобы рассказывать о жизни

[ мемуары ]



Габриэль Гарсиа Маркес

**Жить, чтобы  
рассказывать о жизни**

«Издательство АСТ»

2002

**Маркес Г.**

Жить, чтобы рассказывать о жизни / Г. Маркес — «Издательство АСТ», 2002

ISBN 978-5-271-41679-8

Воспоминания великого писателя о детстве. Воспоминания, в которых вполне реальные события причудливо переплетаются с событиями вымышленными – и совершенно невероятными. Удивительные, необычные мемуары. Сам автор не без иронии утверждает, что в них все – «чистая правда, правда от Габриэля Гарсиа Маркеса». Это важно помнить читателю, ведь прославленный мастер магического реализма даже свои детские воспоминания облачает в привычную ему литературную форму. И совсем не случайно эпиграфом к этой книге послужили слова: «Жизнь – не только то, что человек прожил, но и то, что он помнит, и то, что об этом рассказывает».

ISBN 978-5-271-41679-8

© Маркес Г., 2002  
© Издательство АСТ, 2002

## Содержание

1	5
2	37
3	69
Конец ознакомительного фрагмента.	71

# Габриэль Гарсиа Маркес

## Жить, чтобы рассказывать о жизни

*Жизнь – не только то, что человек прожил, но и то, что он помнит, и то, что об этом рассказывает*

### 1

Моя мать попросила меня съездить с ней, чтобы продать дом. Она приехала в Барранкилью утром и не имела представления, как меня найти. Стала расспрашивать знакомых, и ей посоветовали заглянуть в книжный магазин «Мундо» или в соседние кафе, куда я заходил по два раза на дню, чтобы поболтать с друзьями-писателями. «Но будьте осторожны, – предостерегли ее, – они совсем чокнутые». Она появилась ровно в двенадцать. Прошла своим легким шагом между столов с выставленными книгами, остановилась передо мной, глядя мне в глаза с лукавой улыбкой давних лучших дней, и, прежде чем я успел отреагировать, сказала:

– Я твоя мать.

Что-то изменилось в моей матери, я не сразу ее узнал. Это естественно, если учесть, что за свои сорок пять лет она рожала одиннадцать раз, то есть десять лет была беременна и как минимум еще столько же кормила детей грудью. Она была в трауре по умершей матери, совсем поседела, в глазах, казавшихся из-за бифокальных линз слишком большими для ее худого лица, было выражение испуга. Но романская красота, запечатленная на свадебном портрете, хоть и отмеченная уже аурой осени, сохранилась. Прежде всего, даже не обняв меня, мать сказала в своем обычном церемонном духе:

– Я пришла просить тебя об услуге – поехать со мной продавать дом.

Мне не надо было объяснять, что за дом, потому что для нас во всем мире существовал единственный, старый дедовский дом в Аракатаке, где мне посчастливилось родиться и который я не видел с тех пор, как мне исполнилось восемь лет.

В ту пору я только бросил факультет права, отучившись шесть семестров, в течение которых в основном читал все, что попадалось под руку, и часами мог наизусть декламировать несравненную поэзию испанского Золотого века. Я прочел все книги, какие мог достать, чтобы изучить технику создания прозы, и уже опубликовал в газетных приложениях шесть рассказов, удостоившихся восторгов моих друзей и внимания некоторых критиков. В следующем месяце мне исполнялось двадцать три, я избежал призыва в армию, дважды знакомился с триппером, регулярно выпивал и каждый день выкуривал по шестьдесят сигарет самого жуткого табака. Я сибаритствовал между Барранкилей и Картахеной де Индиос, на карибском побережье Колумбии, каким-то образом существуя на то, что мне платили за ежедневные заметки в «Эль Эральдо», а это было даже меньше, чем ничего, но прекрасно спал, иногда не один, там, где меня заставляла ночь. Более-менее ясной цели в моей жизни-хаосе не было, мы, несколько неразлучных друзей, просто жили, спорили, намеревались неизвестно на какие средства издавать дерзкий журнал, задуманный Альфонсо Фуэнмайором за три года до этого... Чего было еще желать?

Скорее от недостатка, чем избытка вкуса, я стал предвосхищать моду: задолго до появления хиппи перестал бриться, отпустил усы, носил длинные, нерасчесанные волосы, потертые джинсы, рубашки в цветочек и сандалии паломника. В темноте кинозала, не зная, что я рядом, одна знакомая сказала кому-то: «Бедный Габито – совсем пропащий». Попросив меня съездить с ней, мать сообщила, что у нее мало денег. Из гордости я заверил, что за себя плачу сам.

Но это была проблема, решить которую в газете, где я работал, было невозможно. Мне платили три песо за заметку, четыре – за передовицу, когда штатные авторы были заняты, и этого едва хватало на жизнь. Я попробовал взять кредит, но заведующий редакцией напомнил, что мой долг уже превысил пятьдесят песо. И в тот день я отважился на злоупотребление дружбой, на что ни один из моих товарищей, пожалуй, способен не был. У выхода из кафе «Колумбия», что рядом с книжным магазином, я подошел к дону Рамону Виньесу, нашему старшему другу-каталонцу, учителю и книжнику, и попросил у него займы десять песо. У него оказалось только шесть.

Ни моя мать, ни я, разумеется, и представить не могли, что обычная поездка всего на два дня станет для меня судьбоносной, как самое долгое путешествие, рассказать о котором не хватило бы и жизни. Теперь, в свои семьдесят пять с хвостиком, я знаю, что решение тогда ехать с матерью было самым важным моим решением.

В детстве человек больше интересуется будущим, чем прошлым, так что мои воспоминания о селении, где я родился, еще не были приукрашены ностальгией. Я помнил его таким, каким оно и было: приятное место для жизни, где все друг друга знают, на берегу прозрачной реки, которая струилась по руслу из отшлифованных камней, белых и огромных, как доисторические яйца. По вечерам, особенно в декабре, когда заканчивались дожди и воздух становился алмазным, казалось, что Сьерра-Невада де Санта-Мария со своими белыми зубцами приближается к плантациям бананов на другом берегу. Оттуда были видны индейцы аруаки, они как муравьи сновали по карнизам Сьерры с тюками имбиря на спине и жевали шарики коки, чтобы скрасить себе жизнь. Мы, дети, воображали, как из вечных снегов лепим снежки и играем в войну. Жара стояла невероятная, особенно во время сиесты, взрослые жаловались на нее, будто ничего подобного не испытывали. С самого рождения я слышал неустанно повторяемую историю о том, что железную дорогу «Юнайтед фрут компани» строили по ночам, потому что днем невозможно было взять инструменты в руки, до такой степени они раскалялись на солнце.

Добраться от Барранкильи до Аракатаки можно было только на хлипком моторном суденышке по каналу, еще во времена колонизации выкопанном рабами, а потом по мутным водам бескрайнего болота до таинственного селения Сьенага. Там пересаживались на обычный (лучший в стране!) поезд, на котором тащились по бесконечным банановым плантациям, с бесчисленными и бессмысленными остановками в пыльных, пышущих жаром деревнях и на пустынных станциях. Вот в этот путь мы с матерью и отправились в семь часов вечера в субботу, 18 февраля 1950 года, накануне карнавала, под проливным не по сезону дождем, с тридцатью двумя песо наличными, которых бы едва хватило на обратную дорогу, если бы дом не удалось продать.

Пассат в тот вечер дул так сильно, что в речном порту мне с трудом удалось уговорить мать подняться на борт по раскачивающемуся трапу. Суденышки представляли собой уменьшенные копии новоорлеанских пароходов, но с бензиновым мотором, который придавал лихорадочный озноб всему корпусу. Там был небольшой зал со стойками для гамаков, которые привязывались на разных уровнях, и деревянные скамьи, на которых пассажиры кое-как устраивались с тюками, баулами, корзинами с курами и даже живыми свиньями. Было и несколько душных кают с двумя казарменными койками, почти всегда занятых захудалыми проститутками, наспех оказывающими путевые интимные услуги.

Мы с мамой поднялись на борт в последний момент. Все каюты уже были заняты, у нас не было гамаков, и мне с большим трудом удалось найти пару свободных стульев в центральном холле, где мы и должны были провести ночь. Таким образом, моя мама, панически страшившаяся воды и ураганов, теперь все-таки была со мной на борту судна «Магдалена», направлявшегося по течению и океанскому ветру. В порту я купил кое-какую еду, самые дешевые сигареты, в которых табак напоминал солому, и на корабле, укрывшись от ветра, прикуривая,

как всегда, одну сигарету от другой, погрузился в чтение романа «Свет в августе» Уильяма Фолкнера, бывшего в то время самым авторитетным демоном из тех, кому я был предан. Мама, вцепившись обеими руками в четки, словно в канат, который мог бы вытащить трактор или удержать самолет и будто связующий ее с земной твердью, не давая низвергнуться в глубины или вознестись на небеса, сидела ни жива ни мертва. Она, как всегда, ни о чем не спрашивала, ни о чем не просила, ни на что не роптала, но лишь молилась за жизнь и благополучие своих одиннадцати детей. Ее мольбы, похоже, достигли цели, потому что ливень стих, когда «Магдалена» вошла в канал, а легкий дождик с бризом оказались кстати, потому что отгоняли москитов. Наконец мама пришла в себя и смогла осмотреть окружающих...

Родилась она в семье скромного достатка, но выросла в эпоху, когда иллюзия богатства, витавшая над банановыми плантациями североамериканской компании, и положение семьи в ту пору позволили ей получить хорошее образование в колледже Явления Святой Девы в Санта-Марте, где учились девочки из состоятельных семей. Во время рождественских каникул она вышивала или играла на клавесине на благотворительных праздниках, под надзором тети посещала даже балы местной аристократии. Ее никто ни разу не видел с мужчиной до тех пор, пока она, против воли своего отца, не вышла замуж за молодого красивого телеграфиста. Ее главными достоинствами были чувство юмора и крепкое здоровье, которое не подорвали все невзгоды и трудности, которые она пережила. Но кроме того, была еще и чрезвычайная сила воли. Родившись под знаком Льва, она стала его олицетворением в жизни. Она – вопреки традициям наших мест, да и вообще Латинской Америки – установила в семье матриархальные отношения, и, казалось, это пришло к ней от давних предков и стало результатом парада планет. Стирая белье или готовя фасолевый суп, она оставалась главной в семье. На корабле, наблюдая, как мать переносит тяготы путешествия, я словно лучше понимал, каким образом ей удавалось в жизни противостоять, бороться с несправедливостью и бедностью, а то и нищетой. И побеждать.

Даже такая скверная ночь не стала для нее испытанием. Кровожадные москиты, жара, густая и тошнотворная из-за грязи в каналах, которую выворачивало судно на своем пути, хождение страдающих бессонницей пассажиров... Мать все терпеливо сносила, неподвижная и гордая на своем стуле, в то время как проститутки, разряженные в мужчин или мадридских красавиц, собирали карнавальное утро в каютах. Одна из них входила и выходила, каждый раз с новым клиентом, совсем рядом со стулом моей матери. Я думал, мать ее не видит. Но когда девица зашла и вышла, поправляя платье, четвертый или пятый раз меньше чем за час, мать проводила ее сочувствующим взглядом до конца коридора.

– Бедные девочки, – тихо сказала она. – Что им приходится терпеть, чтобы хоть как-то заработать и выжить.

Так продолжалось до полуночи, когда я устал читать при невыносимой тряске и скудном свете из коридора и уселся покурить рядом с ней, пробуя воротиться на воду из зыбких песков округа Йокнапатофа. Я дезертировал из университета в предыдущий год, с отчаянной идеей прокормиться журналистикой и литературой, притом без обязательств учиться этим профессиям, воодушевленный фразой, которую, кажется, вычитал у Бернарда Шоу: «В раннем детстве мне пришлось прервать обучение, чтобы пойти в школу». Я не был способен обсуждать это ни с кем, чувствуя, что мои доводы представляют ценность лишь для меня самого. Попытки убедить моих родителей в подобном безумстве, когда они возлагали на меня столько надежд и потратили столько денег, которых у них вообще-то не было, было напрасной тратой времени. Особенно отца, который бы не простил мне того, что я бросил учебу и не повесил на стену какой-нибудь академический диплом, которого он в свое время не смог получить. Мы перестали общаться. Почти год до того как мать приехала с просьбой помочь ей продать дом, я все собирался поехать и все объяснить отцу. Мать не касалась этой темы до тех пор, пока мы не вошли на судно, где после полуночи она почувствовала, возможно, благодаря providению или

каким-то сверхъестественным водным силам, что наступил подходящий момент, и исподволь начала разговор о главном, наболевшем бессонными ночами.

– Твой отец очень расстроен, – сказала она.

Я почувствовал, что начинается ад для меня, хотя заговорила она обычным своим, в любых ситуациях невозмутимым голосом, словно только для того, чтобы исполнить ритуал. Как бы подыгрывая ей, потому что прекрасно знал ответ, я спросил:

– Почему же?

– Потому что ты бросил учебу.

– Этого я не говорил. Я лишь решил сменить карьеру.

Спор ее как будто вдохновлял.

– Отец говорит, что это равнозначно.

– Он сам бросил учебу, чтобы играть на скрипке, – сказал я.

– Это не то же самое, – живо возразила она. – На скрипке он играл лишь на праздниках. Да, он бросил учебу, но только потому, что не на что было жить. И меньше чем за месяц он освоил телеграф, а тогда это была очень хорошая специальность, особенно в Аракатаке.

– Я зарабатываю на жизнь тем, что пишу в газеты, – сказал я.

– Это ты говоришь, чтобы меня успокоить, – сказала она. – Увидев в книжном магазине, я тебя не узнала.

– Я тоже вас не узнал, – сказал я.

– Но по другой причине, – вздохнула она. – Я подумала, что ты – нищий попрошайка.

Она посмотрела на мои стоптанные сандалии и добавила:

– Даже без носков.

– Так удобней, – заверил я. – Две рубашки и двое трусов: одни надеты, другие сохнут. Что еще нужно?

– Немного достоинства, – сказала она, но тут же сменила тон: – Я говорю тебе это, потому что мы тебя очень любим.

– Я знаю, – сказал я. – Но скажите мне одну вещь, только честно: на моем месте вы не поступили бы точно так же?

– Я бы так не поступила, – сказала она, – если бы это было наперекор моим родителям.

Вспомнив, с каким упорством она сломила сопротивление родителей, чтобы выйти замуж, я со смехом сказал:

– Посмотрите мне в глаза.

Но она избегала моего взгляда, потому что слишком хорошо знала, о чем я думаю.

– Я не выходила замуж, пока не получила благословения родителей, – сказала она. – Силой, да, но я его получила.

Она прервала спор не потому, что мои аргументы ее убедили, а потому, что захотела в туалет, но сомневалась в его санитарной безупречности. Я спросил у шкипера, нет ли уборной почище, но он ответил, что и сам пользуется общим нужником. И заключил, будто продекламировал Конрада:

– В море мы все равны.

Мать удалилась, а вышла – вопреки моим опасениям, – едва сдерживая смех.

– Представь себе, – сказала она, – что подумает твой отец, если я вернусь из нашей поездки с дурной болезнью.

После полуночи мы опаздывали на три часа: водоросли и лианы намотались на лопасти, судно воткнулось в мангровые заросли, и нескольким пассажирам пришлось вытаскивать его с берега джутовыми веревками от гамаков. Жара и комары стали невыносимы, но мать как бы обманывала их своими мгновенными и бесконечными снами, которые позволяли ей отдыхать, не прерывая разговора. Когда наше путешествие возобновилось, подул легкий бриз, и она окончательно проснулась.



- В любом случае я должна буду дать ответ твоему отцу.
- Лучше не беспокоиться, – предложил я невинно, – в декабре сам поеду и все объясню.
- Это еще десять месяцев, – сказала она.
- В конце концов, в этом году уже ничего нельзя исправить в университете.
- Ты обещаешь приехать?
- Обещаю, – сказал я. И впервые услышал беспокойство в ее голосе.
- Я могу передать твоему отцу, что ты скажешь «да»?
- Нет, – с трудом ответил я. – Это – нет.

Совершенно очевидно, что она искала какой-нибудь выход из положения. Но я не отозвался.

- Тогда лучше сразу сказать ему всю правду, – вздохнула она. – Лучше не обманывать.
- Хорошо, – произнес я с облегчением. – Скажите ему все, мама.

На этом мы остановились, и, может быть, тот, кто недостаточно ее знал, мог подумать, что на этом все и закончится, но я-то не сомневался, что это лишь передышка, чтобы набраться сил. Чуть позже она заснула крепким сном. Нежный бриз разогнал москитов и пропитал свежий воздух ароматом цветов. Судно своими очертаниями напоминало стройный парусник.

Мы плыли по Сьенага-Гранде, еще одному мифу моего детства. Я плавал по ней несколько раз, когда мой дед, полковник Николас Рикардо Маркес Мехиа, которого мы, внуки, звали Папалело, брал меня с собой из Аракатаки в Барранкилью проводить моих родителей.

– Сьенагу не надо бояться, ее надо уважать, – говорил он мне, имея в виду непредсказуемое настроение вод, которые могли вести себя и как тихий омут, и как неукротимый океан. В сезон дождей на нее влияли грозы с гор. С декабря по апрель, когда погода должна была быть спокойной, северные ветры нападали на нее с таким неистовством, что каждая ночь становилась настоящим приключением. Моя бабушка по матери, Транкилина Игуаран – Мина, после одного страшного путешествия, когда им до рассвета пришлось пережить непогоду в устье Риофрио, отваживалась на плавание только в случаях крайней необходимости.

Той ночью, к счастью, было спокойно. Из окон в носовой части судна, куда я незадолго перед рассветом вышел подышать свежим воздухом, огоньки рыбацких судов казались плавающими, как звезды в воде. Им было несть числа, и невидимые рыбаки переговаривались, как будто были рядом друг с другом, так как голоса на фоне воды отражались эхом. Я оперся о перила, пытаюсь угадать профиль горной гряды, когда вдруг ощутил первый позыв ностальгии.

В одно прекрасное утро, похожее на это, когда мы пересекали Сьенага-Гранде, Папалело оставил меня спать в каюте и пошел в буфет. Не знаю, который был час, когда сквозь дребезжание ржавого вентилятора и перестук консервных банок меня разбудил шум толпы. Мне было лет пять, не больше, и я сильно испугался, но вскоре опять стало тихо, и я подумал, что это, наверное, был сон. Утром, уже на пристани в городке Сьенага, мой дед брился опасной бритвой перед зеркалом, висевшим на двери, которая была открыта. Воспоминание очень четкое: он был еще без рубашки, но на майку были надеты его вечные эластичные подтяжки, широкие, с зелеными полосами. Бреясь, он продолжал разговаривать с человеком, которого и сегодня я мог бы сразу узнать. У него был характерный вороний профиль; матросская татуировка на правой руке, на шее несколько цепей из тяжелого золота, а на обоих запястьях золотые браслеты. Я только что оделся и, сидя на койке, надевал сапоги, когда этот человек сказал моему деду:

- Не сомневайтесь, полковник. Они хотели бросить вас в воду.

Мой дед усмехнулся, не переставая бриться, и с присущим ему высокомерием ответил:

- Лучше бы и не пытались.

Тогда я понял, что прошедшей ночью случился какой-то скандал, и меня весьма впечатлило то, что кто-то мог бросить деда в воду. Воспоминание об этом эпизоде, так никогда и не проясненном, внезапно пришло ко мне этим ранним утром, когда я с матерью ехал продавать дом и обозревал синеву горных снегов, встречавших первые лучи солнца. Из-за задержки

в канале мы смогли увидеть уже при свете дня сверкавшую песчаную отмель, едва разделявшую открытое море и лагуну, где были рыбацкие деревни, с сетями, развешанными сушиться на берегу, с чумазыми детьми, игравшими в футбол тряпичным мячом. Поражало большое количество рыбаков с искалеченными руками – оттого, что не успели вовремя бросить шашку динамита. По ходу движения катера дети ныряли за монетами, которые кидали им пассажиры.

Было часов семь, когда мы бросили якорь в каком-то зловонном болоте недалеко от городка Сьенага. Бригады грузчиков по колено в грязи нас приняли на руки и отнесли, хлюпая по грязи, к пристани, в то время как над нами кружили стервятники, которые не могли поделить между собой плававшие в воде отбросы. Не спеша, за столиками прямо в порту, мы ели на ужин местную вкусную рыбку мохарру и жареные зеленые бананы, когда мать повела на меня новое наступление, продолжая свою персональную войну.

– Ну, скажи мне наконец, – сказала она, не поднимая глаза, – что мне ответить твоему отцу?

Я постарался выиграть время, чтобы подумать.

– По поводу чего?

– Того единственного, что его интересует, – сказала она в раздражении, – твоей учебы.

Мне повезло, что один наш беспардонный сотрапезник, заинтригованный горячностью диалога, захотел услышать мои доводы. Незамедлительная реакция матери меня не только немного испугала, но и удивила в ней, столь ревностно отнесшейся к своей частной жизни.

– Он хочет стать писателем, – выразительно пояснила она.

– Хороший писатель может зарабатывать хорошие деньги, – ответил мужчина серьезно, – особенно если он работает на правительство.

Не знаю, из осторожности ли моя мать свернула тему или опасаясь аргументов неожиданного собеседника, но все закончилось взаимными сочувствиями по поводу моего непонятного поколения и тоской по былому. Наконец, перебрав имена общих знакомых, они обнаружили, что мы являемся родственниками по обеим линиям – семейств Котес и Игуаран. В те времена такое случалось с каждым двумя из трех человек, которых мы встречали на Карибском побережье, но моя мать не уставала этому восхищаться, как чему-то необыкновенному.

На железнодорожную станцию мы поехали в одноконном экипаже, возможно, последнем представителе этого легендарного транспорта, который уже не встречается в других местах. Мать, погруженная в свои мысли, смотрела на сухую равнину, выжженную селитрой, которая, начинаясь от лагуны у порта, сливалась с линией горизонта. Для меня это было историческое место. Когда мне было года три или четыре, в мою первую поездку в Барранкилью, дед вел меня за руку через эту пустыню под палящим солнцем; он шел быстро, ничего мне не говоря, и вдруг мы очутились перед необъятным простором зеленых вод с пенными гребешками, которые мне показались целым миром утопленниц-кур.

– Это море, – сказал он мне.

Я спросил его разочарованно, что там, на другом берегу, и он ответил не раздумывая:

– Море безбрежно.

Сегодня, когда я повидал в жизни и исплавал вдоль и поперек столько морей, я по-прежнему считаю, что это был один из его великих ответов. Во всяком случае, никакие мои прежние представления не соответствовали этому грязному бесконечному пространству, названному морем, по селитряному берегу которого невозможно было ходить из-за гниющих зловонных остатков мангровых зарослей и ракушек. Это было ужасно.

Мать, должно быть, думала то же самое про море в Сьенаге, потому что, как только увидела его по левую сторону экипажа, вздохнула:

– Такого моря, как в Риоаче, больше нигде нет!

Тогда я и рассказал ей о своем воспоминании, о курах-утопленницах, и, как и любому взрослому, ей показалось, что это – детская галлюцинация. Она продолжала всматриваться в

те места, что нам попадались по дороге, и я знал, что она думала о них, хотя молчала. Мы проехали мимо квартала борделей на другой стороне железной дороги, с разноцветными домиками, покрытыми ржавыми крышами, и стариками попугаями из Парамарибо, которые, сидя на кольцах, подвешенных под навесами, зазывали клиентов по-португальски. Проехали мимо паровозного депо, с огромным железным сводом, где укрывались на время сна перелетные птицы и залетевшие чайки. Не въезжая, мы обогнули городок и увидели его широкие пустынные улицы и дома со следами бывшего шика, одноэтажные, с окнами из цельного стекла, где с утра до вечера повторяли гаммы на фортепьяно. Вдруг мать указала пальцем...

– Смотри, – сказала она. – Вон там был конец света.

Я взглянул в направлении ее указательного пальца и увидел станцию: деревянное облупившееся здание с цинковой двускатной крышей и балконами-галереями, и напротив – площадку без всякой растительности, на которой едва уместилось бы человек двести. Именно там, как сказала тогда мать, в 1928 году войска расстреляли так никогда и не установленное число поденщиков банановых плантаций. Я представлял это событие так, будто сам его пережил, помнил его с тех пор, как помнил себя – после того как он был рассказан и пересказан тысячу раз моим дедом: военный читает приказ, по которому бастующие поденщики объявляются шайкой преступников; три тысячи мужчин, женщин и детей продолжают стоять неподвижно под диким солнцем, после того как офицер им дал пять минут на то, чтобы освободить площадь; команда «Огонь!», треск очередей из раскаленных стволов, затравленная, охваченная паникой толпа, которую пядь за пядью методично разрезают ненасытные ножницы картечи.

Поезд прибывал в Съенагу в девять утра, забирал пассажиров с пароходов и жителей горных деревень и четверть часа спустя отправлялся в глубь банановой зоны. Мы с матерью приехали на станцию в начале девятого, но поезд опаздывал. Тем не менее мы были единственными пассажирами. Она поняла это, как только вошла в пустой вагон, и сказала, оживившись:

– Какая роскошь! Весь поезд – для нас одних!

Мне и теперь кажется, что это была наигранная радость, чтобы скрыть разочарование, так как следы времени, сказавшиеся на состоянии вагонов, сразу бросались в глаза. Некогда это были вагоны второго класса, но уже без плетеных сидений и стекол на окнах, которые поднимались и опускались, а с деревянными скамьями, отполированными протертыми и линялыми штанами бедняков. В сравнении с тем, что было в лучшие времена, наш вагон, как и весь поезд, казался призраком самого себя. Прежде у него были вагоны трех классов. В третьем, где ездили самые бедные, стояли ящики из досок, в которых перевозили бананы либо животных на убой, приспособленные для пассажиров с помощью продольных лавок из необработанного дерева. Второй класс отличался плетеными сиденьями и бронзовыми рамами. В первом классе, где ездили правительственные чиновники и руководство банановой компании, были ковры в проходе и богатые кресла красного бархата, угол наклона спинок которых можно было регулировать. Когда ехал управляющий компанией или его семья, или его почетные гости, к хвосту состава прицепляли вагон-люкс с солнцезащитными стеклами и позолоченными карнизами, и открытой террасой со столиками, за которыми можно было пить чай во время путешествия. Но я не знал ни одного смертного, который хотя бы раз видел изнутри эту сказочную карету. Мой дед дважды был алькальдом и к тому же легко относился к деньгам, но ездил во втором классе только в том случае, если с ним ехала какая-нибудь женщина нашей семьи. И когда его спрашивали, почему он ездит в третьем классе, он отвечал:

– Потому что нет четвертого.

Несмотря ни на что, с былых времен сохранилась феноменальная пунктуальность поезда. По его свистку в городках сверяли часы.

В тот день, неизвестно по какой причине, поезд отправился с полуторачасовой задержкой. Когда он тронулся, очень медленно, с каким-то замогильным скрежетом, мать перекрестилась, но сразу вернулась к действительности.

– В этом поезде масла в рессорах недостает, – сказала она.

Мы были единственными пассажирами, возможно, во всем поезде, и не было вокруг ничего, что могло привлечь мое внимание. Я вновь погрузился в дремотный «Свет в августе»<sup>1</sup> и курил без остановки, время от времени отрываясь от чтения, чтобы узнать места, которые мы проезжали. Миновав берег лагуны, поезд дал длинный гудок и на полной скорости ворвался в гулкий коридор между красными скалами, где грохот колес стал невыносимым. Но минут через пятнадцать он сбавил скорость, вполз, тихо сопя, в прохладную тень плантаций, и время уплотнилось, и морского бриза уже не чувствовалось. Мне не надо было прерывать чтения, чтобы понять, что мы погрузились в герметическое царство банановой зоны.

Мир изменился. По обеим сторонам от железнодорожного полотна простирались симметричные и бесконечные проспекты, разрезавшие плантации, по которым шли тележки с волами, груженные зелеными гроздьями. То тут, то там появлялись, как инородное тело, невозделанные участки, на которых стояли бараки из красного кирпича, конторы с сетками от комаров и вентиляторами с большими лопастями, подвешенными к потолку, или одинокая больничка на маковом поле. У реки было много рукавов, на берегу каждого стояло свое селение со своим железным мостом, по которому поезд пробежал, бросая приветственный клич, и девушки, купавшиеся в ледяной воде, выпрыгивали, как русалки, смущая пассажиров мимолетным мельканием своих грудей.

В городке Риофрио на поезд село несколько семей индейцев аруаков с рюкзаками, полными горных авокадо, самых аппетитных во всей стране. Они вприпрыжку пробежали вагон туда и обратно, но когда поезд тронулся, в нашем вагоне остались лишь две белые женщины с новорожденным ребенком и молодой священник. Ребенок, не переставая, плакал всю остальную дорогу. На священнике были сапоги, пробковый шлем, сутана из грубого холста с квадратными, как паруса, заплатами; он разговаривал одновременно с женщинами и с плачущим ребенком – как будто с кафедры. Темой его проповеди было вероятное возвращение банановой компании. С тех пор как ее не стало, в банановой зоне ничего другого не обсуждали, некоторые желали ее возвращения, некоторые – нет, но и те и другие знали наверняка, чего ждать. Священник был против, и высказал он это с таким пылом, с таким личным участием, что женщины удивлялись.

– Компания опустошает все на своем пути!

Это единственное было оригинальным из всего того, что он сказал, но объяснить не смог, и женщина с ребенком усомнилась в том, что Бог с ним был согласен.

Как всегда, ностальгия, приукрашивая воспоминания, стирает все недоброе из памяти. Последствия этого ощущал на себе каждый. В окно вагона я видел мужчин, сидевших у порогов своих домов, и на их лицах было написано, чего они ждали. Прачки на селитряном берегу с такой же надеждой смотрели на проходящий поезд. Им чудилось, что каждый приезжий с «дипломатом» непременно должен быть работником «Юнайтед фрут компани». Она возвращалась, чтобы, в свою очередь, вернуть им прошлое. При каждой встрече, в каждом разговоре, в письме рано или поздно звучала сакраментальная фраза: «Говорят, что компания возвращается». Никто не знал, кто, когда и в связи с чем это сказал, но сомнению это не подвергалось.

Моя мать была уверена, что ко всему относится спокойно, философски, но как только ее родители умерли, обрубила все связи с Аракатакой. Однако ее тревожили сны. По крайней мере те, которые она считала достойными пересказа близким за завтраком, – и они всегда были связаны с ее ностальгией по банановой зоне. Она пережила самые трудные времена, но не продала дом, все надеясь, что жизнь наладится и что выручит за него раза в четыре больше, когда компания вернется. В конце концов ее одолел тяжкий груз реальности. Но теперь, услы-

---

<sup>1</sup> Роман Уильяма Фолкнера. – Здесь и далее примеч. пер.

шав, как священник в поезде говорил, что компания вот-вот вернется, расстроилась и сказала мне на ухо:

– Жаль, что мы не можем подождать еще чуток, чтобы продать дом подороже.

Пока священник говорил, мы проехали мимо площади, где под палящим солнцем собралась толпа и оркестр играл веселую мелодию. Все эти городки мне всегда казались похожими друг на друга. Когда Папалело водил меня в новый кинотеатр «Олимпия» дона Антонио Даконте, я замечал, что станции в ковбойских фильмах были похожи на те, где останавливался наш поезд. Позднее, когда я стал читать Фолкнера, мне также казалось, что городки в его романах напоминают наши. И это неудивительно, так как они были построены в русле мессианства «Юнайтед фрут компани», в том же стиле – временного походного лагеря. Я вспоминал их, с неизменной церковью на площади и домиками, словно из сказок, покрашенными во все цвета радуги. Вспоминал бригады поющих под вечер черных поденщиков, бараки в усадьбах, у которых сидели пеоны, наблюдая за проходившими товарными и пассажирскими поездами, межи на полях тростника, где на рассвете находили мачетеро с отрубленной головой после субботней гулянки. Вспоминал частные города для гринго в Аракатаке и Севилье, на другой стороне железной дороги, окруженные металлической сеткой, как огромные электрифицированные птицефермы, которые в прохладные летние дни на рассвете казались черными от подгорелых тушек ласточек. Вспоминал их обильные лазурные луга с павлинами и перепелами, резиденции с красными крышами и окнами с решетками, и круглыми столиками со складными стульями, за которыми обедают на террасе, среди пальм и пыльных роз. Иногда за проволочным ограждением можно было увидеть красивых томных женщин в муслиновых платьях и больших газовых сомбреро, срезавших в своих садах цветы золотыми ножницами.

В детстве было нелегко отличить один городок от другого. Через двадцать лет это оказалось еще труднее, потому что на станционных фасадах уже не осталось табличек с идиллическими названиями – Тукуринка, Гуамачито, Неерландия, Гуакамайаль, – и все они были в более удручающем виде, чем сохранила память. Около половины двенадцатого поезд прибыл в Севилью, где в течение пятнадцати нескончаемых минут предстояло поменять паровоз и заправиться водой. Тогда и наступила жара. Когда поезд снова отправился в путь, новый паровоз на каждом повороте пускал облако пыли, которая залетала в незастекленные окна и покрывала нас черным снегом. Мы и не заметили, как священник и женщины сошли на какой-то станции, и это усугубило мое ощущение, что мы с матерью ехали одни в ничейном поезде. Сидя напротив меня, глядя в окошко, она на ходу задремала два-три раза, но вдруг встряхнулась и снова будто бросила в меня вопрос, которого я боялся:

– Ну и что все-таки мне сказать твоему отцу?

Я понял, что она не успокоится и снова поведет атаку с целью сломить мое сопротивление. Чуть ранее она предложила мне несколько компромиссных вариантов, которые я отверг безо всяких аргументов, она вроде бы отступила, но я знал, что это ненадолго. И все равно новая попытка застала меня врасплох. Готовый к еще одной бесплодной битве, я ответил – уже спокойнее, чем в прошлые разы:

– Скажите ему, что единственное, чего я хочу в жизни, – это стать писателем, и я им стану.

– Он не против того, чтобы ты стал тем, кем ты хочешь стать, – сказала она, – если ты получишь хоть какое-то образование.

Она говорила, не глядя на меня, делая вид, что ее больше интересует жизнь за окном, чем наш диалог.

– Не знаю, почему вы так настаиваете, если прекрасно знаете, что я не сдамся, – сказал я.

Она посмотрела мне в глаза и чуть ли не заинтригованно спросила:

– Почему ты уверен, что я это знаю?

– Потому что мы с вами похожи, – ответил я.

Поезд сделал остановку на полустанке и спустя немного времени проехал мимо банановой усадьбы, на воротах которой было написано ее название: «Макондо». Это слово привлекло мое внимание еще во время первых поездок с дедом, но уже взрослым я обнаружил, что мне нравится его поэтическое звучание. Никогда ни от кого я не слышал это слово, не задавался вопросом, что оно означает. Я уже использовал его ранее в трех моих книгах как название вымышленного городка, когда случайно вычитал в одной энциклопедии, что это – название тропического дерева, типа хлопкового, которое не дает ни плодов, ни цветов, чья губчатая древесина используется для изготовления каноэ и чистки кухонной утвари. Позднее я обнаружил в Британской энциклопедии, что в Танганьике имеется кочевая народность маконде, и подумал, что слово могло прийти к нам оттуда. Но я так и не выяснил этого, не нашел и дерева, хотя много раз спрашивал о нем в банановой зоне, и никто не смог мне ничего об этом сказать. Может быть, его и не существовало вовсе.

В одиннадцать поезд проезжал Макондо и через десять минут делал остановку в Аракатеке. В тот день, когда мы с матерью ехали продавать дом, он пришел с полуторачасовым опозданием. Я был в туалете, когда поезд стал набирать скорость, и в разбитое окно влетел сухой обжигающий ветер, сопровождаемый грохотом старых вагонов и каким-то испуганным паровозным гудком. Я поспешно выскочил, движимый страхом, подобным тому, что ощущаешь при землетрясении, и увидел мать, невозмутимо сидевшую на своем месте, вслух перечислявшую названия мест, которые уносились назад, промелькнув мимо окна, как мгновенные вспышки жизни – той, что ушла и уже никогда не вернется.

– Эти участки продали отцу с идеей, что там есть золото, – сказала она.

С быстротой молнии пронесся дом магистров-адвентистов с его цветущим садом и надписью над входом по-английски: «Солнце светит для всех».

– Это первое, что я выучила на английском, – сказала мать.

– Не первое, – сказал ей я. – Единственное.

Пронесся бетонный мост и оросительный канал с мутной водой, куда гринго отвели рукав реки, чтобы использовать воду на своих плантациях.

– Квартал продажных женщин, где мужчины веселятся ночи напролет, танцуя кумбию, поджигая вместо свечей пачки денег, – сказала она.

Скамьи сквера, миндальные деревья, покрытые ржавчиной солнца, парк школы «Монтессори», где я научился читать. В окне предстала полная картина воскресного селения, сверкающего на февральском солнце.

– Станция! – воскликнула мать. – Как, должно быть, изменится мир, в котором уже никто не будет ждать поезда.

Локомотив перестал свистеть, замедлил ход и остановился с протяжным стоном. Первое, что обратило на себя внимание, – это тишина. Та вещественная тишина, которую не спутаешь ни с одной другой тишиной мира и узнаешь с закрытыми глазами. Густой зной вибрировал, и все вокруг виднелось будто через волнистое стекло. Никаких воспоминаний ни о том, как жили здесь люди, ни о том, что было скрыто под толстыми раскаленными слоями пыли, у меня не сохранилось. Мать еще посидела несколько минут на сиденье, глядя через окно на мертвые, пустынные улицы селения, и промолвила с ужасом:

– Боже мой!

Это было единственное, что она сказала, прежде чем сойти.

Пока поезд стоял, мы не казались себе одинокими. Но когда его вновь раскочегарили и он ушел, издав на прощание короткий душераздирающий свист, мы с матерью почувствовали какую-то адскую беззащитность и одиночество, будто все скорби брошенного селения навалились на нас. Мы подавленно молчали. В абсолютной тишине стояла старая деревянная станция с цинковой крышей, со сплошным балконом – словно тропическая версия тех, что мы знали по ковбойским фильмам. По растрескавшимся от проросшей травы плитам мы пересекли при-

вокзальную площадь и окунулись в безнадежно-злойную безжизненность сиесты, ища спасения в тени миндальных деревьев. Я с детства маялся неприкаянностью в эти безжизненные сиесты, не зная, куда себе деть.

– Не мешай спать, – шептали взрослые сквозь сон, будто отгоняя надоедливых мух.

Магазины, конторы, школы, закрытые с полудня, открывали лишь к трем. Патио, в которых подвешивались гамаки, погружены были в спячку. В некоторых было настолько невыносимо душно и жарко, что люди выставляли табуреты на улицу и спали сидя в тени миндальных деревьев.

Открытыми оставались только гостиница напротив станции, буфет и бильярдный зал при ней, а также телеграф позади церкви. Постепенно память оживала, но все казалось меньше, чем когда-то, жалким, со следами неумолимого рока. Изъеденные жуком дома, дырявые ржавые крыши, скверы с остатками гранитных скамеек, печальные миндальные деревья. По другую сторону железной дороги поросший кустарником пустырь, уже без пальм, электрических столбов, с разрушенными домами между мальвами и остовом сгоревшей больницы, – все было покрыто толстым слоем пыли и в обжигающем кожу жаре плавало, точно мираж. Ничто, ни сломанная дверь, ни трещина в стене, ни следы какого-то человека, не ускользало от меня. Мать своим легким шагом шла справа, чуть потев в своем траурном платье, храня молчание, и лишь мертвенная бледность и заостренный профиль выдавали, что у нее происходит внутри. Первого человека мы увидели в конце аллеи, это была низенькая женщина нищенского вида, появившаяся на углу Хакобо Беракаса и направившаяся в нашу сторону с котелком, плохо закрытая крышка которого позвякивала в ритме ее шагов. Мать прошептала, не глядя на нее:

– Это Вита.

Я узнал ее. Когда я был маленьким, она работала у моих деда с бабушкой, и если бы она удосужилась посмотреть на нас, то наверняка узнала бы нас, хотя мы, конечно, изменились. Но она будто перемещалась в ином мире. Я и сегодня задаюсь вопросом: умерла ли Вита много позже того дня?..

Когда мы завернули за угол, пыль обожгла мне ноги через плетенные сандалии. Невыносимо тягостным стало чувство собственной беспомощности. Я вдруг увидел нас с матерью как бы со стороны, как когда-то в детстве увидел мать и сестру вора, за неделю до того пытавшегося взломать дверь и убитого Марией Консуэгрой.

В три часа ночи она проснулась, услышав, что дверь ее дома пытаются взломать с улицы. Не зажигая свет, она поднялась, на ощупь нашла в платяном шкафу старый револьвер, из которого не стреляли с Тысячедневной войны, определила в темноте, где находится дверь, на какой высоте замок, навела оружие двумя руками и, зажмурившись, нажала на гашетку. До этого она не стреляла ни разу в жизни, но пуля через дверь попала точно в цель.

Это был первый мертвец в моей жизни. Когда в шесть часов утра я шел в школу, то по дороге увидел лежащее в подсыхающей луже крови тело мужчины со спитым лицом, с пулей, размозжившей нос и вышедшей через ухо. Он был в тельняшке с цветными полосами, в простых штанах, подвязанных веревкой из агавы вместо пояса, босой. Рядом на земле лежала самодельная отмычка, которой он пытался открыть дверь.

В дом Марии Консуэгры пришли наиболее авторитетные жители селения, чтобы выразить сочувствие. Той ночью я был там с Папалело, мы увидели Марию сидящей в кресле из Манилы, сплетенном из ивовых ветвей, которое казалось огромным павлиньим хвостом, в эпицентре внимания слушавших в тысячный уже, должно быть, раз рассказываемую ею историю. Все понимали, что она выстрелила из страха. Моя бабушка спросила, не слышала ли Мария чего-нибудь после выстрела, и та ответила, что сначала наступила полная тишина, потом послышался звук падающей на бетонный пол отмычки и затем сдавленный стон: «Ай, мамочки!» Должно быть, Мария Консуэгра не вспоминала тот страшный стон до тех пор, пока бабушка не задала вопрос. Только тогда она разрыдалась.

Это произошло в понедельник. Во вторник на следующей неделе во время сиесты я играл в юлу с Луисом Кармело Корреой, моим лучшим другом детства, когда взрослые проснулись раньше положенного часа и высунулись в окна. По пустынной улице шла женщина в траурном платье с девочкой лет двенадцати, которая несла букет увядших цветов, завернутых в газету. От палящего солнца они прикрывались черными зонтами, не обращая никакого внимания на уставившихся на них людей. Это были мать и сестра убитого вора, несшие цветы на его могилу.

И эта картина, проходившие по пустынной улице под многочисленными взглядами женщина и девочка, долго стояла у меня перед глазами. Но я не осознавал всей их драмы, пока не приехал с матерью, чтобы продать дом, и не прошел по той же улице в такой же мертвый час.

– Ощущаю себя вором, – сказал я.

Мать не поняла меня. Более того, когда мы проходили мимо, она даже не взглянула на дверь дома Марии Консуэгры с деревянной заплатой в том месте, где ее пробила пуля. Много лет спустя, вспоминая ту нашу поездку, я выяснил, что она, конечно, все помнила, но готова была продать душу за то, чтобы многое забыть. Это стало еще более очевидно, когда мы проходили мимо дома, где жил дон Эмилио, более известный как Белга, ветеран Первой мировой войны, потерявший обе ноги на минном поле в Нормандии и однажды в воскресенье на Троицу, надышавшись цианида золота, беспрепятственно пустился вдаль памяти. Мне было не больше шести, но я очень хорошо запомнил тот переполох, который в шесть утра вызвало известие о его смерти. И вот теперь, когда мы приехали с матерью, чтобы продать дом, она будто нарушила обет двадцатилетнего молчания.

– Бедный Белга, – вздохнула она. – Как ты говорил: «Он никогда больше не будет играть в шахматы».

Мы должны были идти прямо к дому. Но когда почти подошли, мать внезапно остановилась, повернулась и пошла обратно, чтобы свернуть за угол, не доходя до нашего квартала.

– Давай лучше здесь пройдем, – сказала мне она. И в ответ на мой удивленный взгляд пояснила: – Потому что мне страшно.

Да и меня обуял страх, притом не только перед призраками прошлого, но вполне реальный, до тошноты. Мы пошли по улице, параллельной той, где стоял наш дом, чтобы его не увидеть.

– Я боялась на него смотреть, пока не поговорю хоть с кем-то, – скажет мне потом мать.

Еле волоча ноги, я без всякой цели вошел в угловой дом, где была аптека доктора Альфредо Барбосы, менее чем в ста шагах от нашего.

Адриана Бердуго, жена доктора, в тот момент шила на своем допотопном «Доместике» с механической ручкой, была так увлечена, что не заметила, как мать подошла и сказала ей полушепотом:

– Как поживаешь, кума?

Адриана подняла рассеянный взгляд и посмотрела сквозь толстые линзы для дальновидности, сняла их, заколебалась на мгновение и вскочила с открытыми объятиями и стоном:

– Ой, кумушка!

Мать зашла за прилавок, они обнялись и заплакали.

Стоя по другую сторону прилавка, я молча смотрел на них с ощущением, что эти их молчаливые слезы сыграют крайне важную роль и в моей судьбе. Когда-то, еще во времена банановой компании, аптека процветала, но теперь открытые полки были почти пусты, осталось лишь небольшое количество фаянсовых пузырьков, надписанных золотыми буквами. Швейная машинка, аптекарские весы, кадуцей, еще живые часы с маятником, кусок линолеума с клятвой Гиппократы, сломанные деревянные лопатки – все было так, как я запомнил в детстве, только тронутое ржавчиной времени. Не пощадило время и саму Адриану. Несмотря на то что носила она, как и раньше, платье с крупными тропическими цветами, в ней не было уже прежних задора и озорства, отличавших ее всю жизнь. Единственное, что осталось неизменным,



так это запах валерианы, от которого бесились коты и который потом я вспоминал всю последующую жизнь как свидетельство крушения прошлого. Когда моя Адриана и моя мать выплакали все слезы, в подсобном помещении послышался отрывистый сухой кашель. Адриана, к которой неожиданно вернулась толика былой привлекательности, громко, чтобы услышали за перегородкой, сказала:

– Доктор, догадайтесь, кто здесь?

Шершавый суровый мужской голос спросил из-за перегородки без всякого интереса:

– Ну и кто?

Адриана ничего не ответила, жестом предложив нам войти в подсобку.

Детский ужас внезапно парализовал меня, пыльная слюна встала комом в гортани, но я вошел с матерью в пеструю комнатку, которая раньше была аптечной лабораторией, но на всякий случай могла служить и спальней. Там находился доктор Альфредо Барбоса, более старший, чем кто бы то ни было на земле, будь то люди или животные. Он лежал лицом вверх, в своем вечном гамаке, без башмаков, в легендарной пижаме из грубого хлопка, больше походившей на рясу священника. Он глядел в потолок, но когда услышал, как мы вошли, уставился на мать своими прозрачными желтыми глазами и смотрел, пока не узнал ее.

– Луиса Сантьяга! – воскликнул он.

Присев в гамаке с усталостью старой мебели, смягчившись, он поприветствовал нас быстрым пожатием своей горячей руки. На мой вопросительный взгляд он ответил:

– Да, уже год меня лихорадит.

Затем слез из гамака, сел на кровать и произнес с протяжным вздохом:

– Вы даже не можете себе представить, что произошло в этом селении.

Эта единственная его фраза резюмировала целую жизнь одинокого печального старика. Он был высок и необыкновенно тощ, с красивой металлически-жесткой седой шевелюрой, подстриженной по какой-то моде, и напряженными желтыми глазами, представлявшими один из кошмаров моего детства. Вечерами, возвращаясь из школы, ведомые каким-то мистическим страхом, мы поднимались, чтобы заглянуть в его окно. Лежа в гамаке, он резко раскачивался, чтобы обдувало подобие прохлады. Наша игра заключалась в том, чтобы не отрываясь смотреть на него до тех пор, пока он не почувствует и сам не устает на нас своими желтыми глазами.

В первый раз я увидел его в пять или шесть лет, однажды утром, когда со школьными друзьями пробрался в патио его дома, чтобы нарвать огромные манго с его деревьев. Вдруг открылась дверь дощатой уборной, стоявшей в углу двора, и вышел он, на ходу завязывая полотняные штаны. Я смотрел на него, как на пришельца из другого мира, в белой больничной рубашке, бледного и костлявого, с желтыми глазами какой-то адовой собаки. Мои друзья удрали через проломы в ограде, а я все стоял, окаменев под его неподвижным взглядом. Увидев только что сорванные манго, он протянул руку.

– Отдавай! – велел он. И посмотрел так, будто хотел сжечь меня желтым огнем глаз, при этом встав в позу, выражавшую полную брезгливость. – Ничтожный дворовый ворюга!

Насмерть перепуганный, я положил манго к его ногам и поспешно скрылся.

Он стал моим личным призраком. Когда я шел один, то делал большой круг, чтобы не проходить мимо его дома. Если шел со взрослыми, то едва осмеливался бросить беглый взгляд на аптеку. Я видел Адриану, словно прикованную к своей старой швейной машинке, за прилавком, и видел его, резко раскачивающегося в гамаке, и даже от этого беглого взгляда волосы вставали дыбом.

Он приехал в селение в начале века с огромной группой венесуэльцев, бежавших за границу от свирепого деспотизма Хуана Винсенте Гомеса. И стал одним из первых пострадавших от двух зол: от жестокости диктатора своей страны и иллюзорного бананового процветания нашей. При всей внешней суровости с самого приезда он зарекомендовал себя опытным и

отзывчивым врачом. Он часто заходил в гости к моим деду с бабушкой, которые всегда накрывали стол на случай неожиданного приезда кого-нибудь. Моя мать была крестной матерью его старшего сына, а мой дед ставил его на крыло, как говорится. Я вырос среди эмигрантов-венецуэльцев, как потом жил среди беженцев от гражданской войны в Испании. И теперь, пока мы с матерью слушали рассказ о трагедии селения, улетучились последние следы детских страхов. Он прекрасно все помнил, и каждая вещь, о которой рассказывал, становилась зримой в этой комнате, затопленной зноем. Началом несчастий, очевидно, стал расстрел рабочих, хотя так и не было установлено, сколько там убитых, трое или три тысячи. Он сказал, что, возможно, их и не было так много, но каждый трактовал события, руководствуясь собственной болью. И потом компания ушла навсегда.

– Гринго никогда не возвращаются, – заключил он.

Казалось, что, уходя, они унесли с собой все: деньги, декабрьский бриз, ножи для резки хлеба, гром в три часа пополудни, запах жасминов, любовь. Остались лишь покрытые пылью миндальные деревья, пустынные гулкие улицы, деревянные дома с проржавевшими крышами и населяющими их молчаливыми людьми, живущими воспоминаниями. В этот раз доктор обратил на меня внимание, когда увидел, как я удивлен странному треску на крыше, похожему на шум дождя.

– Это грифы-индейки, – сказал он мне. – Они целыми днями разгуливают по крышам.

Затем, указав вялым указательным пальцем на закрытую дверь, добавил:

– Но ночью хуже, потому что слышишь мертвых, которые разгуливают по этим улицам.

Он пригласил нас позавтракать, и мы согласились, потому что было время для того, чтобы уладить дела с продажей дома, тем более что детали сделки можно было согласовывать и по телеграфу.

– У вас времени более чем достаточно, – сказала Адриана. – Теперь неизвестно, когда поезд пойдет обратно.

Так что мы разделили с ними креольскую трапезу, простота которой была не столько признаком бедности, сколько самоограничения, которое доктор всю свою жизнь практиковал и проповедовал. Вкус супа пробудил во мне массу воспоминаний из детства, которые множились и все более оживали с каждой ложкой. Слушая доктора, я как бы возвращался в тот возраст, в каком был, когда дразнил его через окно, и смутился, как только он обратился ко мне с тем же серьезным и располагающим тоном, в каком говорил с моей матерью. В раннем детстве мое смущение и растерянность иногда скрывались за непрерывным морганием. И вот теперь под взглядом доктора ко мне вернулся тот детский рефлекс. Жара стала невыносимой. Я на какое-то время утратил нить беседы, пытаюсь самому себе ответить на вопрос: каким же образом столь дружелюбный милый старик сделался ужасом моего детства?.. Вдруг, договорив какую-то длинную фразу и помолчав, он взглянул на меня с дедушкиной улыбкой.

– Значит, ты стал совсем взрослым, Габито, – сказал мне он. – Что изучаешь?

Я на свою учебу напустил тумана: мол, полный бакалавриат, вдобавок подкрепленный интернатурой, целых два с лишним года изучения юриспруденции, да плюс реальная журналистика. Выслушав меня, мать обратилась к доктору за поддержкой.

– Вы представляете, кум, – сказала она, – он хочет стать писателем.

Глаза доктора сверкнули.

– Как это здорово, кума! – воскликнул он. – Это же подарок небес!

И обратился ко мне:

– Поэзия?

– Роман и рассказ, – сказал я ему, обомлев.

Но он явно воодушевился:

– Читал «Дона Барбару»?

– Разумеется, – ответил я, – и почти все остальное Ромуло Гальегоса.

Будто воскреснув от внезапного энтузиазма, он рассказал нам, как познакомился с ним на конференции в Маракайбо, где тот выступал, и он показался доктору достойным своих книг. Честно говоря, когда я лежал с лихорадкой и температурой сорок, увлеченный сагами Миссисипи, в местных романах я находил значительные швы. Но общение с доктором, представлявшим кошмар моего детства, было теперь настолько задушевным, что я предпочел присоединиться к его энтузиазму. Я поведал ему о «Жирафе» – моих ежедневных заметках в «Эль Эральдо» – и поделился мечтами о выпуске своего журнала, на который мы с друзьями возлагали большие надежды. Я подробно изложил, как мы себе все представляем, перечислил будущие рубрики и сообщил название: «Хроника». Пристально окинув меня взглядом с головы до ног, он сказал:

– Не знаю, как ты пишешь, но рассказываешь уже как писатель.

Мать поспешно объяснила, что никто не против моего писательства, но при условии, если я получу надежное академическое образование, которое обеспечило бы мне твердую почву под ногами. Доктор не придавал особого значения ее словам и продолжил рассуждать о карьере писателя. Оказалось, он тоже хотел стать писателем, но те же аргументы, что привела только что моя мать, вынудили его выучиться медицине, когда родители не сумели сделать из него военного.

– Поэтому, кума, еще подумайте, – сказал он. – Вот я врач у вас здесь, но никто не знает, сколько моих пациентов скончалось по воле Господа, а сколько от моего лечения.

Мать не сразу нашла что ответить.

– Дело в том, что он бросил изучать право, – сказала она, – после стольких жертв, которые мы принесли, чтобы его поддерживать.

Доктору же, наоборот, это показалось свидетельством моего призвания, что в конечном счете и стоит принимать в расчет и пестовать. Особенно призвание художественное, самое непостижимое из всех, требующее полной отдачи и не обещающее ничего взамен.

– Говорю как врач, – сказал он, – каждый появляется на свет с каким-то своим предназначением, а противиться природе – хуже всего для здоровья. – И добавил с заговорщицкой улыбкой убежденного масона: – Стало быть, призвание само по себе целебно?

Я был покорен формой, в которую он облек то, что я никак не мог объяснить. Мать видела, насколько я околдован, и ей ничего не оставалось, как сдаться на милость судьбы.

– Хорошо, но чем это объяснить твоему отцу? – спросила она меня.

– Лишь тем, что мы только что услышали, – сказал ей я.

– Боюсь, не подействует, – усомнилась она. Но, помолчав, заверила: – Но ладно, не волнуйся, я найду для этого подходящий способ.

Не знаю, что она имела в виду, но на этом наш спор завершился. Часы, будто капли по стеклу, пробили час дня. Мать спохватилась:

– Господи, я и забыла, зачем мы сюда приехали! – И встала из-за стола: – Нам нужно идти.

Первое впечатление от дома, стоявшего на соседней улице, не имело ничего общего с моими ностальгическими воспоминаниями. Оба старых миндальных дерева, стоявших при входе, как часовые, и служивших безошибочным опознавательным знаком, были срублены под корень, и дом выглядел беззащитным под открытым небом. То, что осталось на палящем солнце – около тридцати метров фасада, черепичная крыша, а половина из не строганных досок, – делало его похожим на игрушечный домик. Мать сначала очень робко позвонила в закрытую дверь, потом чуть смелее, – и спросила в окно:

– Тут есть кто-нибудь?

Дверь медленно приоткрылась, и какая-то женщина осведомилась из полумрака:

– Что вы предлагаете?

Мать ответила с достоинством, возможно, бессознательным:

– Я Луиса Маркес.

Дверь открылась, и женщина в трауре, костлявая и бледная, взглянула на нас, будто из потустороннего мира. В глубине зала виднелся пожилой мужчина, раскачивавшийся в инвалидном кресле. Это были жильцы, которые после нескольких лет аренды предложили выкупить дом, но и они сами не были похожи на покупателей, и дом не был в таком состоянии, чтобы хоть кого-то заинтересовать. В телеграмме, которую получила мать, говорилось, что жильцы согласились половину оговоренной суммы внести наличными, а оставшееся – до конца года с учетом банковских процентов, но никто не вспомнил о том, что договаривались, что мать приедет именно сейчас. В результате долгого разговора, будто глухих, стало ясно, что четкого соглашения вообще не было. Угнетенная бессмысленным пререканием и умопомрачительной жарой, вся в поту, мать огляделась по сторонам и промолвила со вздохом:

– Этот несчастный дом уже сам при смерти.

– Более того, – сказал мужчина. – Трудно даже себе представить, сколько надо будет потратить, чтобы хоть как-то его отремонтировать.

У них имелся список незавершенных ремонтных работ, предусмотренных договором аренды, притом настолько длинный, что получалось, будто не они нам, а мы сами им уже должны деньги. Мать, у которой глаза были на мокром месте, на этот раз держалась стойко, демонстрируя недюжинную выдержку перед ударами судьбы. Она активно возражала, я же участия в споре не принимал, с первого же аргумента поняв, что на уме у покупателей. В телеграмме не указывались время и способ продажи, лишь говорилось о том, что это предстоит согласовать. И это было вполне в духе нашего семейства. Я сразу представил, как принималось решение – должно быть, за столом во время завтрака и в то же мгновение, как получили телеграмму. А не считая меня, было еще десять братьев и сестер с одинаковыми правами на наследство. В результате мать наскребла несколько песо, собрала свой школьный чемодан и, имея лишь деньги на обратный билет, отправилась заключать сделку.

Спор возобновился, и через полчаса мы пришли к выводу, что никакой сделки не будет. Кроме всего прочего, вспомнили еще и ипотеку, висевшую на доме тяжким грузом и тогда, когда продажа казалась уже верной. Жильцы пустились по новому кругу, приводя свои непреложные аргументы, но мать их прервала и вдруг заявила своим не терпящим возражений тоном:

– Так, хорошо, дом не продается. Мы пришли к выводу, что раз уж здесь родились, то здесь все и умрем.

Остаток вечера в ожидании поезда в обратную сторону мы провели, обмениваясь ностальгическими воспоминаниями о доме. Не считая арендуемой части, выходявшей на улицу, где некогда размещались дедовские мастерские, все остальное было призраком с облолочкой из источенных перегородок и проржавевших крыш, отданных на милость ящерицам. Застыв у порога, мать простонала:

– Это не тот дом.

Но не объяснила, что имела в виду. В течение всего моего детства она описывала три разных дома, менявшихся в зависимости от того, кому она о них рассказывала. Первоначально, согласно и рассказам бабушки в ее специфичной уничижительной манере, это было нечто вроде индейского ранчо. Второй дом, построенный дедом и бабушкой, был мазанкой с крышей из пальмовых листьев и широким, хорошо освещенным входом, веселой раскраски террасой-столовой, двумя спальнями и просторным патио с гигантским каштаном, аккуратным огородом и коралем, где мирно жили свиньи, козлята и куры. Согласно самой распространенной версии, тот дом был обращен в пепел ракетой-петардой, упавшей на пальмовую кровлю во время празднования 20 июля Дня независимости неизвестно, в каком году. От него остались лишь бетонные полы и пара каменных блоков с дверью, ведущей на улицу, в той части, где располагался офис Папалело, когда он был служащим.

На еще неостывшем обгоревшем строительном мусоре семья возвела для себя окончательное жилище. Это был дом с вытянувшимися в линию восемью комнатами, примыкавшими друг к другу, и длинной галереей с оградой из бегоний, где, наслаждаясь вечерней прохладой, коротали время женщины за вышиванием на пяльцах и неспешной беседой. Комнаты были просто обставлены, почти не различались между собой, но мне достаточно было беглого взгляда, чтобы осознать, что с каждой из них связан какой-то очень важный, а то и переломный момент моей жизни.

Первая комната служила гостиной и личным кабинетом бабушки. Там стояли письменный стол, вращающееся кресло на рессорах, электрический вентилятор и пустой книжный шкаф с одной лишь книгой, огромным распотрошенным словарем. Следом шла ювелирная мастерская, где дед проводил свои лучшие часы, изготавливая изящных золотых рыбок с крохотными изумрудными глазками, больше для удовольствия, чем на продажу. Там собирались примечательные персонажи, в основном бывшие государственные деятели, ветераны войн. Среди них – по крайней мере две исторические личности: генералы Рафаэль Урибе Урибе и Бенхамин Эррера, которые обедали вместе с семьей. Однако же единственное, что сохранилось в памяти моей бабушки на всю оставшуюся жизнь от посещений Урибе Урибе, была его воздержанность за столом:

– Он клевал, как птичка.

В доме существовало два мира – мужской и женский. Объединенное пространство кабинета и мастерской, по нашим карибским законам, было запрещено для женщин, точно так же, как и деревенские таверны. Однако со временем оно превратилось в больничную палату, где умерла тетушка Петра и несколько месяцев страдала от тяжелой болезни Вenefрида Маркес, сестра Папалело. За кабинетом и мастерской начинался закрытый женский рай, в котором жили многочисленные родственницы и знакомые, просто приезжие, останавливавшиеся у нас в доме. Я был единственным существом мужского пола, вхожим в оба мира.

Столовая была расширенным продолжением коридора с крытой галереей, где женщины садились шить, и столом на шестнадцать человек, членов семьи и приезжих на полуденном поезде. С замершим сердцем мать молча смотрела из бывшей столовой на осколки горшков бегоний, сгнившие кустарники и ствол жасмина, источенный термитами.

– Порой невозможно было дышать из-за жаркого аромата жасмина, – вздохнув, сказала она, глядя в широкое, затянутое густым маревом небо. – Но чего мне больше всего не хватает, так это грома в три часа пополудни.

Я помнил, как страшный треск, подобный камнепаду, разбудил нас во время сиесты, но никогда не отдавал себе отчета в том, что это было именно в три часа.

После столовой располагалась гостиная, предназначенная для особых случаев, так как повседневные визитеры, если это были мужчины, принимались с ледяным пивом в кабинете, а если это были женщины – в галерее. Затем начинался нескончаемый и загадочный мир спален. Первая – деда и бабушки, с большой дверью в патио с резными деревянными орнаментами цветов и датой постройки дома: «1925». Там без всякого предупреждения, но с триумфальным выражением лица мать преподнесла мне вовсе неожиданный сюрприз.

– А вот здесь ты родился, – сказала она.

Прежде я этого не знал или забыл, но в следующей комнате мы обнаружили колыбель, в которой я спал до четырех лет и которую бабушка сохранила навсегда. Я не думал о ней с детства, но едва увидел, вспомнил себя самого ревущим во весь голос, чтобы кто-нибудь пришел и избавил меня от какашек, которые я напустил в новенькую пижаму с голубыми цветочками, которую впервые тогда надел. Рыдая, я едва удерживался на ногах, хватаясь за стенку колыбели, маленькой и хрупкой, точно корзинка Моисея. Тот случай долго был поводом для споров и шуток родителей и друзей, которым причина моего огорчения, на которой я настаивал, а именно испачканная новенькая пижама, казалась уж слишком прагматичной для столь раннего

возраста. Но рыдания мои действительно были в гораздо большей степени обусловлены эстетикой, чем гигиеной, и, судя по форме, в которой сохранилось в моей памяти то переживание, это было моим первым писательским впечатлением.

В той спальне стоял также алтарь со святыми в человеческий рост, более живыми и зловещими, как мне казалось, чем даже в церкви. Там спала тетя Франсиска Симодосеа Мехиа, двоюродная сестра дедушки, которую мы звали Мамой, она жила в нашем доме с тех пор, как умерли ее родители. Иногда и я спал в гамаке при мерцании лампад святых, которые не угасали до чьей-нибудь смерти, и порой там спала в одиночестве моя мать, измученная властью святых над всей своей жизнью. В глубине галереи были расположены две комнаты, входить в которые не разрешалось и мне. В первой жила моя двоюродная сестра Сара Эмилия Маркес, добрая дочь моего дяди Хуана де Дьоса, воспитанная дедом и бабушкой. С раннего детства казавшаяся мне какой-то сверхъестественной и чрезвычайно волевой женщиной, это она впервые пробудила во мне страсть к писательству своим необыкновенным собранием сказок Кальехо с дивными иллюстрациями, которое в руки мне никогда не давалось из предосторожности, что я мог от восторга книгу и порвать. И последнее стало первым моим горьким писательским разочарованием.

В дальней комнате был склад всякой рухляди и отслуживших свой век чемоданов, которые в течение долгих лет привлекали мое любопытство, но исследовать их содержимое мне не позволялось. Позже я узнал, что там находилось семьдесят ночных ваз, горшков, которые купили бабушка с дедушкой, когда моя мать пригласила своих товаров с курса провести каникулы в нашем доме.

Перед этими двумя комнатами, в той же галерее, была большая кухня с простой печью из обожженного камня и большой духовкой, на которой бабушкой, пекарем и профессиональным кондитером, выпекались всякие сладости, например, различные зверьки из карамели, своим аппетитным ароматом насыщавшие рассветы. Она была, конечно, королевой женщин, которые жили или прислуживали в доме, и подпевали ей, помогая в многочисленных радениях. Временами вплетался в этот многоголосый хор и голос Лоренцо Великолепного, столетнего попугая, унаследованного от прадедушки и прабабушки, который выкрикивал антииспанские лозунги и пел песни Войны за независимость. Он был настолько близорук, что упал в котелок, где варилась пища, и чудом спасся, потому что вода только начала нагреваться. 20 июля, в три часа пополудни, он переполошил дом паническими криками:

– Бык, бык! Пришел бык!

В доме находились только женщины, потому что мужчины ушли на празднества, и решено было, что крики попугая – не более чем маразматический бред. И лишь те женщины, которые умели с ним разговаривать, поняли, что он кричал не напрасно: дикий бык, удравший из загона на площади, с ревом парохода в слепой ярости вломился на кухню и стал крушить кухонную мебель и многочисленные горшки на полках и плите. Когда я входил в дом, меня встретила буря до смерти перепуганных женщин, которые схватили меня на руки и заперлись вместе со мной в кладовой. Мычание быка на кухне и могучие удары его копыт по бетонному полу коридора сотрясали весь дом. Вдруг он показался в вентиляционном отверстии, и от его пламенного сопения и налитых кровью глаз кровь застыла у меня в жилах. Когда пикадорам удалось-таки совладать с ним и уволочь обратно в загон, в доме началось гулянье, продолжавшееся более недели, с нескончаемыми чашками кофе и праздничными пирогами, с рассказами возбужденных очевидцев, с каждым разом приобретающими все более героический оттенок.

Патио казался не очень большим, но в нем помещалось много разных деревьев, общая баня без крыши, с бетонным резервуаром для сбора дождевой воды и полками, на которые забирались по трехметровой шаткой лестнице. Еще там стояли большие бочки, которые дед по утрам наполнял при помощи ручного насоса. В патио помещалась также конюшня из мас-

сивных необструганных досок и подсобные помещения, в глубине – фруктовый сад и единственная уборная, куда слуги-индейцы опорожняли по утрам ночные горшки из дома.

Но самым роскошным растением был каштан, возвышавшийся на краю мира и времени, под библейскими листьями коего обречены были скончаться, обмочившись, не менее двух отставных полковников гражданских войн прошлого века.

Семья приехала в Аракатаку за семнадцать лет до моего рождения, когда «Юнайтед фрут компани» начала всеми правдами и неправдами бороться за банановую монополию. Дед с бабушкой привезли с собой своего двадцатиднолетнего сына Хуана де Дьоса и двух дочерей, девятнадцатилетнюю Маргариту Марию Минниату де Алакоке и Луису Сантьягу, мою будущую мать, которой было тогда пять лет. До нее они потеряли близнецов в результате выкидыша на четвертом месяце беременности. Когда на свет появилась моя мать, бабушка объявила всем: лавочка закрывается и это были последние роды, так как ей исполнилось уже сорок два года. Без малого полвека спустя, в том же возрасте и при подобных обстоятельствах, моя мать сказала то же самое, когда родила Элихио Габриэля, своего одиннадцатого ребенка. Переезд в Аракатаку для бабушки и особенно деда был чем-то сродни перемещению в Лету, реку Забвения. С собой они привезли двух своих слуг, индейцев гуахиро – Алино и Аполинара – и индианку Меме, которых купили в их родных местах по сто песо за каждого, когда рабство уже было отменено. Полковник привез с собой все необходимое, чтобы воссоздать прошлое, но как можно менее напоминающее ему это прошлое, пронизанное угрызениями совести по поводу того, что убил человека на дуэли. Он хорошо знал этот район еще со времен войны, когда прошел на Съенагу, чтобы в качестве генерал-интенданта присутствовать при подписании Нерландского договора о перемирии.

Новый дом не вселил в них душевного спокойствия, ибо угрызения совести были настолько сильны, что могли сказаться и через много поколений на далеком потомке. Наиболее достоверные воспоминания, на которых мы все основывали семейную версию, принадлежали бабушке Мине, уже совсем слепой и наполовину выжившей из ума. Однако она была единственной в море беспощадной молвы, которая не распускала слухи о дуэли до того, как она произошла на самом деле.

Трагедия произошла в Барранкасе, процветающем мирном селении в отрогах Сьерры Невады, где полковник научился у своего отца и деда ремеслу ювелира и куда воротился, когда был подписан мирный договор. Противник его был высоченного роста, на шестнадцать лет младше, так же, как и дед, до мозга костей либерал, убежденный католик, небогатый землевладелец, недавно женившийся, с двумя сыновьями и с именем порядочного человека: Медардо Пачеко. Самым печальным в том случае для полковника оказалось то, что это не был один из многочисленных безымянных противников, с которыми приходилось драться на полях сражений, но старый и верный друг, соратник-солдат Тысячедневной войны, с которым ему пришлось схлестнуться насмерть уже тогда, когда оба по-настоящему поверили в наступивший мир.

И это был первый случай в реальной жизни, который по-настоящему пробудил во мне писательские инстинкты, от которых я не избавился и по сей день. С тех пор как я достиг сознательного возраста, я понимал, насколько важную роль в истории нашей семьи сыграла трагедия, но детали ее оставались в тумане. Моей матери, которой было всего три года, запомнилась она как невероятный сон. Многочисленные рассказы взрослых еще больше запутывали дело, будто нарочно складывая головоломную мозаику. Наиболее правдоподобная версия заключается в том, что мать Медардо Пачеко побудила его отомстить за свою поруганную полковником честь. Мой дед публично опроверг ложный слух о том, что спал с матерью Медардо Пачеко, но тот упорствовал и постепенно превратился из обиженного в обидчика, нанеся деду оскорбление, попытавшись запятнать его непогрешимую репутацию либерала. Но точных деталей слу-

чившегося мне узнать так и не удалось. Оскорбленный полковник вызвал Медардо на смертельную дуэль, не назвав точной даты.

И то, что он дал пройти времени между вызовом и собственно дуэлью, было характерным для деда. Тайно, чтобы гарантировать безопасность семьи в той альтернативе, которую предоставляла ему судьба – смерть или тюрьма, он привел в порядок все свои дела. Без спешки продал все, что удалось нажить после последней войны: ювелирную мастерскую и небольшую усадьбу, доставшуюся в наследство от отца, где он выращивал коз и имелся участок сахарного тростника. Через полгода в глубине шкафа он спрятал слиток серебра и спокойно дожидался дня, который сам для себя назначил: 12 октября 1908 года, годовщину открытия Америки.

Медардо Пачеко жил на окраине селения, и дед знал, что он не мог не присутствовать в тот день на процессии в честь Святой Девы Пилар. Перед тем как выйти из дома, дед написал жене короткое и нежное письмо, в котором указал, где спрятаны деньги, и дал несколько распоряжений по поводу будущего детей. Он оставил письмо под подушкой, чтобы она наверняка обнаружила его, когда ляжет спать, и, ни с кем не попрощавшись, вышел навстречу судьбе.

Все версии сходятся в том, что это был обычный Карибский октябрьский понедельник с унылым дождем из низких туч и погребальным ветром. Медардо Пачеко, одетый по-воскресному, только вошел в сумрачный переулок, когда полковник вышел ему навстречу. Оба были вооружены. Годы спустя, пребывая уже в своих старческих лунатических дебрях, бабушка все твердила:

– Бог давал Николасито шанс помиловать этого несчастного, но он им не смог воспользоваться.

Возможно, она так действительно думала, потому что полковник рассказывал, что видел вспышку досады противника, застигнутого врасплох. Также он рассказал, что когда огромное, как дерево, тело рухнуло на заросли кустарника, то послышался бессловесный стон, «словно из затхлого притона». Легенда приписала моему Папалело сакраментальную фразу, произнесенную якобы в тот момент, когда он сдавался алькальду:

– Пуля чести победила пулю власти.

И эта фраза – совершенно в духе либералов его эпохи, но я все-таки никак не мог соотнести ее с дедовской манерой выражаться. Факт заключался в том, что свидетелей не было. Правдоподобные версии случившегося дали досудебные и судебные показания деда и жителей селения, но и они не пролили свет на трагедию. И до сих пор не существует версий, которые бы совпадали. Событие, конечно, раскололо семьи на два враждующих лагеря: одни семьи, в том числе убитого, были намерены мстить, другие радушно, как и прежде, принимали у себя в домах Транкилину Игуаран с детьми, несмотря на витавший в селении дух кровной мести. И все это произвело на меня в детстве такое впечатление, что я взвалил на себя часть дедовской вины, будто она была и моей виной, да и сейчас, когда пишу эти строки, ощущаю больше сочувствия к семье убитого, чем к своей собственной семье.

Папалело для большей его безопасности перевели в Риоачу, а позже в Санта-Марту, где осудили на год: половину срока в заключении и половину условно. Как только он вышел на свободу, с семьей отправился на непродолжительное время в Съенагу рядом с Панамой, где жила одна из его внебрачных дочерей, и в конце концов осел в мрачном тогда, нездоровом округе Аракатака, где устроился кассиром в сельской управе.

Никогда больше он не выходил из дома вооруженным, даже в худшие времена банановых репрессий, лишь держал револьвер под подушкой для защиты дома. Аракатака оказалась далеко не той тихой заводью, о которой мечтали дед с бабушкой после пережитого с Медардо Пачеко. Она образовалась на месте деревни индейцев чимила и вошла в историю как местечко без Бога и действия законов муниципалитета Съенага, полностью деградировавшего из-за банановой лихорадки. Название образовалось так: вождь индейцев чимила носил имя Cataca, ага



в переводе – «река, вода», и селение назвали Aracataka, что означает «источник прозрачных вод». Но местные называли ее просто Катака.

Когда дед уверял семью, что деньги тут текут по улицам рекой, Мина спокойно отвечала: «Деньги – это западня дьявола». Для моей матери Катака стала источником многих детских ужасов. Первым, который она запомнила еще совсем маленькой, было нашествие саранчи, которое опустошило поля с посевами.

– Они налетели, как камнепад, – сказала она, когда мы приехали продавать дом. – Насмерть перепуганные жители попрятались в своих домах, от беды могли спасти только сверхъестественные силы. В любое время нас заставляли врасплох сухие ураганы, срывающие крыши с домов, вырывавшие с корнем молодые банановые деревья и засыпавшие измученные селения какой-то космической пылью. Летом мы вместе со скотом страдали от ужасных засух, зимой разражались бесконечные ливни, более похожие на всемирный потоп, превращавшие улицы в бурные реки. Инженеры гринго плавали на резиновых лодках между утопшими коровами и матрасами. «Юнайтед фрут компани», благодаря своим искусственным оросительным системам ответственная за подтопления и потопы, в тот год отклонила русло реки, когда сильнейшее из наводнений смыло могилы на кладбище и по реке поплыли трупы.

Но гораздо более серьезные разрушения и бедствия, чем природа, нес с собой человек. Казавшийся игрушечным поезд выбрасывал в обжигающие пески палую листву авантюристов со всего мира, которые захватывали улицу за улицей. Этот наплыв повлек за собой резкий экономический подъем, демографический рост и всеобщую криминализацию. Из исправительной колонии Буэнос-Айреса, что находилась всего в пяти лигах, недалеко от Фундасиона, по выходным сбегали заключенные и наводили ужас на Аракатаку. С тех пор как индейские вигвамы и ранчо из бамбука под пальмовыми ветвями стали заменяться деревянными домами «Юнайтед фрут компани» с оцинкованными двускатными крышами, сверкающими окнами и навесами, увитыми запыленными цветами, наше селение стало больше всего походить на американские поселки из вестернов.

Это был бурный поток и водоворот незнакомых лиц, палаток вдоль большой дороги, мужчин, переодевающихся прямо на улице, женщин, сидящих на чемоданах под зонтиками от солнца, бесконечных мулов, умирающих от голода и жажды на привязи у постоянных дворов, и те, кто прибыли первыми, становились последними. Мы были чужими на этом празднике или трагедии жизни, пришлыми.

Убийства совершались не только в пьяных субботних стычках. Как-то вечером мы услышали крики на улице и увидели, как верхом на осле проехал человек без головы. Ему отрубили голову во время расчетов за банановые плантации, и голову швырнули в ледяной поток сливной канавы. Ночью я услышал от бабушки привычное ее объяснение случившегося:

– Только качако мог сотворить такое.

Качако – значит, уроженец столичного региона, от остальной части человечества их можно было отличить не только по вялым манерам и грязным словечкам, но и по зазнайству, словно они посланцы самого Божественного Провидения. Постепенно этот образ стал настолько отвратительным, что после жесточайшего подавления забастовки внутренними войсками всех военных мы называли не офицерами и солдатами, а только качакос. Они представлялись единственными, кто пользовался благами политической системы, и многие из них доказывали это своим поведением. Только этим для нас был обусловлен весь кошмар «Черной ночи Аракатаки», легендарной резни, о которой в памяти народа сохранились столь смутные и противоречивые воспоминания, что непонятно, была ли она на самом деле.

Та страшная суббота началась с того, что местный житель, чья личность почему-то так и не была установлена, ведя за руку мальчика, вошел в буфет и попросил для ребенка воды. Один из приезжих, в то время напивавшийся у стойки, со смехом протянул мальчику вместо воды стакан рома. Отец возмутился, приезжий стал пьяно настаивать, и это продолжалось до тех

пор, пока напуганный мальчик не опрокинул рукой выпивку. Тогда приезжий, не раздумывая, застрелил его.

И это тоже было одним из ужасов моего детства. Папалело мне часто напоминал о том случае, когда мы заходили выпить чего-нибудь прохладительного в таверны, но изображал все в таких нереальных красках, что, казалось, сам не верит. Должно быть, это произошло вскоре после переезда в Аракатаку, потому что мама помнила лишь, что взрослые были напуганы. О преступнике было известно, что говор его был приглаженным, как у жителей Анд, и что гнев местных жителей был направлен не только против самого убийцы, но и против всех многочисленных отвратительных чужеземцев, говоривших так же. Отряды местных, вооруженных мачете, выходили по вечерам на темные улицы, останавливали незнакомцев и приказывали:

– Ну, говори!

И ничтоже сумняшеся могли изрубить на куски только за то, что прохожий говорил не так, как они. Дон Рафаэль Кинтеро Ортега, супруг моей тети Вenefриды Маркес, самый типичный качако, который как раз должен был отпраздновать свой сотый день рождения, был спрятан моим дедом в кладовой до той поры, пока не утихнут страсти. Но горе постигло нашу семью на третьем году жизни в Аракатаке, когда умерла Маргарита Мария Миниата, бывшая у нас в доме лучом света. Долгие годы ее дагерротип красовался в гостиной, и ее имя, передававшееся из уст в уста от поколения в поколение, служило символом семейного единства. Хотя молодое поколение уже не так волновал образ той инфанты в плиссированной юбке, белых башмаках и с толстой косой до пояса, который никак не могли соотнести с тем, что рассказывала о ней бабушка. И у меня всегда было такое ощущение, что именно то состояние вечной тревоги и предчувствия беды, замешенное на угрызениях совести, утраченных иллюзиях и ностальгии, представлялось деду и бабушке наиболее похожим на мир. До самой смерти они всюду чувствовали себя чужаками.

В действительности они таковыми и являлись, но в толпах, прибывавших к нам на поезде, трудно было отличить тех от этих чужаков. С такими же мечтами на лучшую жизнь, как дед с бабушкой, приехали большие семье Фергюссонов, Дюранов, Беракасов, Кореа... Неудержимой лавиной через границы Провинции в поисках покоя, работы и свободы, утраченных на родине, катили итальянцы, канарцы, сирийцы, которых мы называли турками, всевозможных обличий и нравов. Были и беглые каторжники с острова Дьявола – французской исправительной колонии в Гайане, – более преследуемые за свободомыслие, чем за уголовные преступления.

Один из них, Рене Бельвенуа, французский журналист, осужденный по политическим мотивам, сбежал к нам в банановую зону и в своей откровенной книге рассказал об ужасах каторги. Благодаря всем им – добрым и недобрым людям – Аракатака стала страной без границ.

Иностранцы селились разрозненно или небольшими колониями. Для меня главную роль сыграла колония венесуэльская, в одном из домов которой обливались водой, черпая ее ведрами из очень холодного на рассвете бассейна, двое студентов-подростков на каникулах: Ромуло Бетанкур и Рауль Леони, которые полвека спустя стали весьма достойными президентами своей страны. Среди венесуэльцев самой близкой к нам была сеньора Хуана де Фрейтес, настоящая матрона, которая имела прямо-таки библейский дар рассказывать истории. Первой серьезной историей, которую я услышал от нее, была повесть «Хеновеа де Брабанте», и она пересказывалась сеньорой Хуаной вперемешку с величайшими произведениями человечества, правда, сокращенными ею до детских сказок: «Одиссея», «Неистовый Роланд», «Дон Кихот», «Граф Монте-Кристо» и даже эпизоды из Библии.

Род деда был одним из самых уважаемых, но в то же время и наименее влиятельных. И все-таки он пользовался авторитетом даже среди церковных иерархов банановой компании. Род был представлен в основном ветеранами гражданских войн, либералами, которые обосновались здесь с легкой руки генерала Бенхамина Эрреры, из поместья которого, обустроен-

ного в духе Неерландии, доносились по вечерам меланхолические вальсы его уютного мирного кларнета.

Моя мать заняла в этом зыбком мире центральное место, сосредоточив на себе всеобщую любовь с тех пор, как тиф унес Маргариту Марию Миниату. В детстве ее изводили сильнейшие приступы малярии. Но когда она окончательно вылечилась, Бог наградил ее здоровьем, позволившим отметить свой девяносто шестой день рождения с одиннадцатью своими родными детьми, четырьмя детьми супруга, шестьюдесятью пятью внуками, восьмьюдесятью восемью правнуками и четырнадцатью праправнуками. Разумеется, не считая тех, о которых не было широко известно. Умерла она своей смертью 9 июня 2002 года в половине девятого вечера, когда мы уже начинали исподволь готовиться отпраздновать первый век ее жизни и в тот же день и почти в тот же час, когда я поставил финальную точку в этих воспоминаниях.

Она родилась в Барранкасе 25 июля 1905 года, когда семья едва только начала восстанавливаться после военного лихолетья. Первое имя ей дали в память о Луисе Мехиа Видал, матери полковника, скончавшейся ровно за месяц до рождения моей матери. Второе ей досталось в честь того, что она появилась на свет в день апостола Сантьяго-старшего, обезглавленного в Иерусалиме. Она скрывала это имя половину своей жизни, потому что оно казалось ей мужским и неблагозвучным – до тех пор, пока один нерадивый ее сын не выболтал его в своем романе. Она была прилежной ученицей, успевая по всем предметам, за исключением класса фортепьяно, который ее мать ей навязала, считая, что уважающая себя сеньорита не может не быть виртуозной пианисткой. Послушно Луиса Сантьяга училась этому три года, но однажды бросила, почувствовав отвращение к ежедневным гаммам в пекле и духоте сiestы. Но это не было свидетельством слабости характера, что она и доказала двадцати лет от роду, вопреки семье и обстоятельствам страстно влюбившись в юного высокомерного телеграфиста из Аракатаки.

История этой противоречивой любви была еще одним ярким впечатлением моей юности. Родители столько рассказывали мне о ней, вместе и по отдельности, что знал я ее почти досконально, когда в двадцать шесть лет писал «Палую листву», мой первый роман, отдавая себе отчет в том, что мне еще только предстоит постичь писательское ремесло.

Оба были прекрасными рассказчиками, но были так счастливы и увлечены своими воспоминаниями, что когда я наконец решил использовать их в «Любви во время холеры» более чем полвека спустя, то не смог отличить правду от вымысла.

Согласно версии моей матери, впервые они встретились на отпевании умершего ребенка, но ни она, ни отец деталей вспомнить не смогли. Якобы, по народному обычаю, она со своими подругами пела о женском жребии, судьбе, любви и воспарении на небеса невинных младенцев, как вдруг к их многоголосому хору присоединился мужской голос. Все девушки обернулись – и оторопели от красоты незнакомца. «Выйдем замуж за него», – запели они припевом, хлопая ладошами в ритм. Но на мою мать его внешность особого впечатления не произвела, поэтому она сказала:

– Подумаешь, еще один из понаехавших.

Он таковым и оказался. Только что приехал из Картахены де Индиас, прервав обучение медицине и фармацевтике за недостатком средств, и вел бесшабашный образ жизни, скитаясь по городам и весям провинции, зарабатывая на хлеб насущный недавно освоенным ремеслом телеграфиста. На фотографии тех дней он имеет вид довольно подозрительного субъекта. Одевался он по тогдашней моде: жакет из темной тафты с четырьмя пуговицами с твердым воротником, широкий галстук, шляпа канотье. Кроме того, он носил стильные круглые очки в тонкой оправе с обычными стеклами. Окружающим он представлялся божественным выжигой и ловеласом, хотя за всю свою долгую жизнь не сделал ни глотка алкоголя, не выкурил ни одной сигареты.

Тогда мать впервые его увидела. Он же ее заметил в предыдущее воскресенье на восьмичасовой мессе, куда она приходила в сопровождении тетушки Франсиски Симодосеа, присматривавшей за ней с тех пор, как она вернулась из колледжа. Затем, во вторник, он прошел мимо их дома, когда она с женщинами вышивала у дверей в тени миндальных деревьев, и таким образом к ночи отпевания младенца прекрасно знал, что она дочь полковника Николаса Маркеса, к которому у него были рекомендательные письма. Вскоре она узнала, что он холост, влюбчив и что его неиссякаемое красноречие, способность экспромтом слагать красивые стихи, изящество, с которым он танцевал модные танцы и проникновенная чувственность, с которой он играл на скрипке, имеют успех. Мать рассказывала мне, что девушки, слышавшие, как он играл на рассвете, не могли сдержать слез. Его визитной карточкой был томно-романтический вальс, который он исполнял непременно и всюду, часто на бис: «После бала». Все это открывало ему двери во многие дома, в том числе и в наш, и вскоре он стал завсегдатаем на обедах в доме деда и бабушки. Тетушка Франсиска, потомок Кармен де Боливар, настолько разомлела, узнав, что вдобавок к очевидным его достоинствам он и родился в Синее, что по соседству с ее родным селением, что фактически усыновила его. Луису Сантьягу забавляли на людных праздниках его ловушки умелого соблазнителя, но у нее и в мыслях не было, что он претендует на нечто большее. Напротив, поначалу она делилась с ним своими первыми любовными секретами, как со своей товаркой по колледжу, и даже согласилась быть посаженной матерью у него на свадьбе. С тех пор он и называл ее шутливо крестной мамой, а она его – крестником.

И можно представить себе, каково было изумление Луисы Сантьяги, когда однажды вечером на танцах телеграфист решительно вынул из петлицы на лацкане розу и, протянув ей, заявил:

– С этой розой я вручаю вам свою жизнь.

Он много раз рассказывал, что это не было импровизацией, что только после того, как он близко познакомился со многими девицами, он сделал вывод, что именно Луиса Сантьяга создана для него. Она восприняла розу как шутку или очередной галантный комплимент из тех, что он беспрерывно делал ее подругам. И поэтому, уходя, где-то забыла розу, а он это заметил. У нее был тайный воздыхатель, не очень удачный поэт, хотя и добрый друг, которому не удавалось тронуть сердце своими пламенными стихами. А роза Габриэля Элихио каким-то неизъяснимым образом запала ей в душу и нарушила девичий сон.

\* \* \*

В нашем первом серьезном разговоре о ее романе с моим будущим отцом, уже имея множество детей, она призналась:

– Я не могла спать от бешенства, что он не идет у меня из головы, но чем больше я бесилась, тем больше о нем думала.

Остаток недели она себя убеждала в том, что ей совершенно не хочется его видеть, но мучило то, что она его не видит. Отношения крестной и крестника в какой-то момент переросли в полное отчуждение. Однажды вечером тетя Франсиска со свойственной ей индейской хитрецой, как ни в чем не бывало, с отсутствующим видом поддела племянницу:

– Говорят, намерены тебе преподнести розу.

Как это обычно бывает, Луиса Сантьяга последней узнала, что терзания ее сердца стали всеобщим достоянием. Я бесконечно подробно расспрашивал отца и мать об их романе, и они сходились в том, что их свели три решающих момента.

Во-первых, торжественная месса по случаю Вербного воскресенья. В церкви Луиса Сантьяга сидела на скамье с тетей Франсиской справа, со стороны Писания, когда он прошел мимо, едва не задев их, и, услышав совсем рядом стук его каблуков для фламенко, она тут же почувствовала, как на нее пахнул ни с чем не сравнимый запах лосьона явно влюбленного мужчины. Тетя Франсиска, казалось, не заметила его, он вроде бы тоже их не увидел.

Но на самом деле все было замыслено им загодя, он шел за ними следом от телеграфа до церкви и из-за близней к выходу колонны долго любовался ее плечами, она же не подозревала об этом, а когда увидела, то вопрос был решен. Это по его мнению. Мать же, напротив, уверяла, что ощутила на себе его взгляд буквально через несколько минут, обернулась, их взгляды встретились – и она вспыхнула от бешенства.

– Произошло все в точности, как я планировал! – счастливый, в очередной раз повторял мне свой рассказ отец уже в старости.

Мать уверяла, что три дня после этого была в ярости, чувствуя себя попавшей в ловушку.

Во-вторых, письмо, которое он ей написал. Но не такое, какое она могла ожидать от поэта и исполнителя серенад на рассвете, а весьма конкретное, с требованием, чтобы она дала ему ответ до ее отъезда в Санта-Марту. Письмо осталось без ответа.

Она закрылась у себя в комнате, чтобы убить в себе червя терзающих сомнений, и сидела там до тех пор, пока тетя Франсиска не настояла на том, чтобы Луиса Сантьяга отперла дверь и выслушала ее. Тетя стала уговаривать соглашаться по-хорошему пока не поздно. Рассказывала племяннице поучительную историю о том, как ухаживал за возлюбленной Хувентино Трильо. Он каждый божий день с шести до десяти нес караул под ее балконом, она всячески оскорбляла его, опорожняла ему на голову ночные горшки, но все-таки не смогла отвести и в конце концов, после всех боевых крещений сдалась перед непобедимой силой любви: вышла за него замуж. История любви моих родителей до такой крайности, как ночной горшок, не дошла.

В-третьих, свадьба, на которую они оба были приглашены как посаженные отец и мать. Луиса Сантьяга не нашла предлога, чтобы отказаться, и не хотела обижать близких друзей семьи. Габриэль Элихио тоже сделал вид, что искал повод не прийти, но явился, хотя и позже всех. Ее крепость была окончательно взята, когда она увидела, с какой несомненной решимостью он пересек зал и пригласил ее на танец.

– Кровь мне ударила в голову так, что все поплыло, и я уже не понимала, взбешена я или испугана, – сказала она мне.

Он это понял и нанес последний сокрушительный удар:

– Теперь у вас нет другого выхода, кроме как сказать мне «да», потому что ваше сердце за вас уже это сказала.

Она оборвала его на полуслове и ушла, но мой отец, так и оставшись стоять посреди зала, все понял.

– Я был счастлив, – сказал он мне.

И все же Луиса Сантьяга не смогла совладать с раздражением, направленным на себя саму, когда на рассвете ее разбудили победоносные звуки вальса «После бала». На следующий день она вернула Габриэлю Элихио все его подарки, нанеся незаслуженную обиду, но ничего нельзя уже было изменить: дальнейшие события, как перья, брошенные по ветру, неудержимо влеклись в одном направлении. И все восприняли это как должный финал летней бури. К тому же у Луисы Сантьяги произошел рецидив малярии, которой она страдала в детстве, и мать увезла ее на лечение в райское местечко Манауре у излучины реки в отрогах Сьерры-Невады. Оба моих родителя уверяли, что в те месяцы, пока она болела, они не поддерживали связь, но в это не слишком верится, так как когда она выздоровела, то и он сразу будто заново родился. Отец рассказывал мне, что поехал встречать ее на станцию, потому что был извещен о приезде телеграммой от Мины, в которой она передавала привет от самой Луисы Сантьяги, что он расценил не иначе как откровенное любовное послание. Она сама, правда, это отрицала с застенчивостью, с которой вообще всегда вспоминала те годы. Но факт тот, что с тех пор между ними стало гораздо меньше недомолвок и они уже открыто появлялись на людях вместе. Не хватало лишь заключительного аккорда, который взяла тетя Франсиска на следующей неделе, когда они шили в галерее с бегониями.

– Мина уже все прекрасно знает, – сказала она.

Луиса Сантьяга всегда говорила, что противостояние ее семьи, как плотина, удержало ее от устремления сердца идти танцевать с Габриэлем Элихио и оставить его стоять посреди зала неприкаянным. Это была настоящая война. Полковник поначалу делал вид, что не собирается вмешиваться, но Мина со свойственной ей манерой резать правду-матку в глаза вывела его на чистую воду: он оказывал влияние на дочь, и весьма значительное. В роду испокон века считалось едва ли не аксиомой, что любой жених, по определению, – проходимец. И именно на этих тлеющих углях атавистического костра из поколения в поколение готовились обособленные единства одиноких, спаянных между собой женщин и мужчин с вечно расстегнутой ширинкой, круглосуточно готовых налево и направо строгать внебрачных детей.

Друзья семьи в зависимости от возраста поделились на два лагеря: «за» и «против» влюбленных. Но были и придерживавшиеся нейтралитета. Молодые стали веселыми сообщниками. Особенно жениха забавляла роль жертвы общественных предрассудков. Кривотолки о том, что некий пронырливый прохиндей-телеграфист намеревается сугубо по расчету жениться на Луисе Сантьяге – главном сокровище богатой и могущественной семьи, его даже окрыляли. Да и сама она, прежде послушная скромница, теперь противостояла этим кривотолкам с яростью только что родившей львицы. В разгар одного из домашних скандалов Мина в гневе бросилась на дочь с ножом для резки хлеба. И Луиса Сантьяга отважно подставила грудь. Опомнившись, Мина отбросила нож и с ужасом воскликнула:

– Господи Боже мой!

И словно в искупление, обожгла себе ладонь о раскаленные угли плиты.

Одним из главных аргументов против Габриэля Элихио был тот, что он – незаконно-рожденный бедной учительницей, в сорокалетнем возрасте отдавшейся какому-то учителю на школьной парте. Ее звали Архемира Гарсиа Патернина, это была белокожая стройная женщина свободных нравов, имевшая, кроме Габриэля Элихио, еще пятерых сыновей и двух дочерей, по крайней мере от трех разных мужчин, ни с одним из которых не состояла в браке. Она жила в селении Синее, где родилась, где самостоятельно вырастила и по-своему воспитала детей, красивая, с веселой открытой душой женщина, которую мы, внуки, впервые встретившись с ней в Вербное воскресенье, очень полюбили.

Габриэль Элихио был ярким представителем этого рода гуляк-голодранцев. С шестнадцати лет не было счета его любовницам, многих девушек, по крайней мере пятерых, он лишил невинности, в чем исповедовался моей матери в первую их брачную ночь на борту хлипкой шхуны, шедшей в Риоачи, швыряемой штормом. Он признался, что одна из них, восемнадцатилетняя телеграфистка в селении Анчи, родила от него сына Абелардо, которому уже исполнилось три года. Другая, двадцатилетняя телеграфистка в Аяпель, на которой он обещал жениться до того, как влюбился в Луису Сантьягу, несколько месяцев назад родила от него дочь Кармен Росу. О рождениях детей ему сообщал нотариус, но их матери никаких претензий к Габриэлю Элихио не имели.

Удивительно, что такой морально-нравственный облик мог беспокоить полковника Маркеса, который параллельно с тем, как зачал троих законных сыновей, сделал не меньше девятерых на стороне, и все были приняты его супругой как свои собственные. Не могу вспомнить, когда я узнавал о похождениях родственников, они были бесконечны, да меня это и не очень-то расстраивало. Мое внимание всегда привлекали наши фамильные имена. Сперва по материнской линии: Транкилина, Венефрида, Франсиска Симодосеа. Позже и по отцовской: Архемира, ее родители Лосана и Аминадаб... Пожалуй, от этого во мне выросло понимание того, что персонажи моих романов не оживут, пока не найдутся соответствующие их образам и характерам имена.

А аргументы против Габриэля Элихио подкреплялись еще и тем, что он являлся активным членом консервативной партии, против которой воевал в свое время либерал-полковник Николас Маркес. После подписания договора между Нееерландией и Висконсином мир был

достигнут лишь наполовину, но прошло еще немало времени, прежде чем возобладал централизм, а правые и либералы перестали показывать друг другу зубы. Возможно, консерватизм Габриэля Элихио был не столько его убеждением, сколько семейной инфекцией, но все же этому придавалось большее значение, чем его остроумию и несомненной честности. Отец был человеком непредсказуемым и самолюбивым, ему трудно угодить. Он всегда был намного беднее, чем казался, бедность для него была злейшим врагом, которому он, однако, так и не смог ни покориться, ни нанести поражение. Все злоключения, касающиеся его ухаживаний за Луисой Сантьягой, он переносил стойко, чаще, насколько я знаю, в одиночестве. В подсобном помещении телеграфа в Аракатаке у него был подвешен односпальный гамак, однако рядом стояла холостяцкая раскладушка с хорошо смазанными пружинами – на всякий случай. Временами в нем просыпался инстинкт ночного охотника и одиночество его скрашивали – но все же это было одиночество, и когда я это понял, то ощутил глубокое сочувствие к нему.

Незадолго до смерти он рассказывал мне о том, какие обиды ему наносились. Однажды с несколькими друзьями он пришел в дом к полковнику, тот всем предложил сесть, кроме него. Родственники матери всегда это отрицали, уверяя, что Габриэль Элихио просто всегда был слишком обидчив, но моя бабушка, будучи почти уже в столетнем возрасте, вспоминая былое, в полубреду однажды проговорила с искренним сожалением:

– Да, я помню, как один бедняга стоял у двери гостиной, а Николасито не предложил ему даже присесть.

Привыкший к ее неожиданным и порой ошеломительным разоблачениям, я спросил, кто был этот бедняга, и она чуть удивленно, будто ответ был очевиден, сказала:

– Как это кто, Гарсиа, тот, что со скрипкой.

Среди нелепостей истории ухаживания, мало вяжущихся с характером и образом жизни Габриэля Элихио, была та, например, что, опасаясь непредсказуемости и вспыльчивости отставного полковника, наслышанный о давнишней дуэли, он приобрел себе револьвер. Почтенный, сменивший многих хозяев «смит-и-вессон» 38-го калибра, на счету которого было бог знает сколько убитых. Но я уверен, что он даже из любопытства или для проверки ни разу из него не выстрелил. Мы, его старшие сыновья, нашли его много лет спустя с пятью родными патронами в шкафу среди какого-то хлама, рядом со скрипкой, на которой он исполнял серенады.

Ни Габриэль Элихио, ни Луиса Сантьяга не спасовали перед трудностями и очевидным противодействием семьи. Вначале они имели возможность встречаться в домах общих друзей, но когда круг вокруг нее сжался, единственной формой общения стали письма, получаемые и отправляемые самыми хитроумными путями. Виделись они лишь издали на многолюдных праздниках. Расправа могла быть суровой, Транкилине Игуаран никто не осмеливался перечить, и посему они постепенно перестали видаться на людях. Когда и тайная переписка стала невозможной, они все же изобретали самые немыслимые ухищрения, находили удивительные пути. Так, например, ей удалось спрятать визитную карточку с поздравлением в пудинг, заказанный на день рождения Габриэля Элихио, а тот умудрился отправлять ей бессмысленные для чужих глаз послания с зашифрованным или написанным симпатическими чернилами текстом. Сообщничество тети Франсиски сделалось настолько очевидным, что теперь ей позволялось выходить с племянницей разве что пошить перед домом под миндальными деревьями. Габриэль Элихио и тут нашел выход: он передавал любовные послания на языке глухонемых из окна дома Альфредо Барбосы на противоположной стороне улицы. И она постепенно выучила язык глухонемых настолько, что, когда тетя отвлекалась, могла вести с женихом безмолвный интимный разговор. Это был один из многочисленных трюков, придуманных Адрианой Бердуго, повивальной бабкой Луисы Сантьяги, ее самой преданной и отважной сообщницей.

Так поддерживался огонь в печи их чувств, пока Габриэль Элихио не получил от Луисы Сантьяги письмо, заставившее его срочно принимать решение. Она черкнула на обрывке туа-

летней бумаги, что родители придумали жестокое лекарство от любви: отправить ее в селение Барранкас. Предстояло не плавание на шхуне ночью по бурному морю из Риоачи, а долгий и трудный путь по отрогам Сьерры-Невады на мулах через всю обширную провинцию Падилья.

– Я бы предпочла умереть, – сказала мне мать в день, когда мы с ней поехали продавать дом.

И она действительно пыталась это сделать, закрывшись на толстую палку в своей комнате, сидя там в течение трех суток на хлебе и воде, пока почтительный трепет, который она испытывала перед своим отцом, не возобладал. Габриэль Элихио понимал, что напряжение достигло предела и отступать некуда. Широкими шагами он пересек улицу от дома доктора Барбосы и подошел к женщинам, шившим в тени миндальных деревьев.

– Сеньора, – обратился он к тете Франсиске, – сделайте одолжение, оставьте нас с сеньоритой буквально на секунду, мне необходимо сказать ей нечто очень важное.

– Наглец! – возмутилась тетушка. – У нее нет и быть не может от меня секретов.

– Тогда я ей ничего не скажу, – заявил он, – но имейте в виду, что ответственность за то, что произойдет, ляжет на вас.

На свой страх и риск, Луиса Сантьяга умолила тетю оставить их с глазу на глаз. Габриэль Элихио торопливо сообщил, что согласен на ее поездку с родителями и будет ждать ее, сколько потребуется, но с условием, что она поклянется выйти за него замуж. Она осчастливила его, сказала, что только смерть могла бы помешать их союзу. Им предстояло почти год провести в разлуке, чтобы испытать на прочность свои чувства, но ни он, ни она не могли себе представить, чего на самом деле это будет им стоить.

Первая часть путешествия верхом на муле с караваном погонщиков по отрогам Сьерры-Невады длилась две недели. Их сопровождала Чон, уменьшительное имя от Энкарнасион, служанка Вenefриды, которая жила в семье с тех пор, как переехали из Барранкаса. Полковник прекрасно знал ту обрывистую дорогу, в глухих селениях вдоль которой во время войны зачал не одного ребенка, но жена его предпочла бы вовсе ее не знать, хотя и морских путешествий не любила. Для моей матери, впервые оседлавшей мула, это было сплошным кошмаром, ночным и дневным, под палящим солнцем и яростными ливнями, с душой, падающей в пятки, над бездонными, затянутыми влажной дымкой пропастями. Но особенно терзали ее мысли о неверности жениха, который так и стоял у нее перед глазами в своем облачении записного ловеласа и со скрипкой. На четвертый день пути, чувствуя, что погибает, она стала умолять вернуться домой и угрожать броситься в ущелье. Испугавшись, Мина решила было возвращаться, но проводник показал на карте, что возвращаться будет гораздо тяжелее, чем добраться до места назначения. Перевести дух им удалось лишь на одиннадцатый день, когда с последнего перевала они смогли различить далеко внизу впереди сияющую плоскость Вальедупара.

Но и во время их путешествия молодой телеграфист сумел наладить связь с возлюбленной – благодаря своим коллегам-телеграфистам шести селений, в которых мать с дочерью останавливались по пути в Барранкас. Помогали и родственники Луисы Сантьяги, вся Провинция была опутана родовыми нитями Игуаранов и Котесов, которых моей матери каким-то непостижимым образом вопреки обстоятельствам и понятиям удалось перетянуть на свою сторону и таким образом связать в клубок. Это позволило ей вести переписку с Габриэлем Элихио и из Вальедупара, где она задержалась на целых три месяца. Многочисленная родня помогала отправлять и получать на телеграфах любовные послания. Неоценимые услуги оказывала и Чон, пронося послания в своих одежках, не подвергая Луису Сантьягу риску быть скомпрометированной, тем более что сама не умела ни читать, ни писать и за сохранность тайны готова была отдать жизнь.

Почти шестьдесят лет спустя, когда я мучил родителей расспросами об их юности для моего пятого романа «Любовь во время холеры», я спросил у отца, существовал ли какой-нибудь профессиональный термин для связи одного телеграфа с другим. И он, не задумываясь,



ответил: «Сколачивать». Слово, конечно, есть не в специальных, а в обычных словарях, но мне оно показалось точно передающим работу телеграфиста с ключом. С отцом я это больше не обсуждал. Однако незадолго до смерти его спросили интервьюеры: «Не хотел ли он сам написать роман?» Он ответил, что желание было, но пропало после того, как сын начал расспрашивать его о юности и, в частности, о работе телеграфиста, о том самом «сколачивании», и понял, что сын пишет ту книгу, которую он задумывал писать.

И в той же связи он вспомнил еще одно знаменательное событие, которое могло изменить курс всей нашей жизни. Через полгода после отъезда, когда Луиса Сантьяга находилась в Сан-Хуан-дель-Сезар, от нее пришла Габриэлю Элихио весть о том, что Мина втайне готовит возвращение семьи в Барранкас, где уже никто не горит желанием кровной мести за убийство Медардо Пачеко. Тогда это показалось абсурдным, так как Аракатака благодаря банановой лихорадке становилась Землей обетованной. Но был, конечно, резон и в том, что чета Маркес Игуаран пойдет на все, чтобы спасти любимую дочь из когтей ястреба-телеграфиста. Следствием этого известия стало то, что Габриэль Элихио начал хлопотать о своем переводе на телеграф в Риоаче в двадцати лигах от Барранкаса. Вакантных мест там не было, но ему пообещали учесть его прошение.

Луиса Сантьяга не подавала виду, что знает о тайных намерениях, но исподволь поговаривала о том, что чем ближе они к Барранкасу, тем почему-то более приветливым и уютным он ей представляется. Чон, доверенное лицо во всех делах, также ничего не выдавала. Однажды Луиса Сантьяга и впрямую заявила матери, что с удовольствием бы осталась в Барранкасе навсегда. Мать ничего не ответила, но дочь почувствовала по ее реакции, что на этот раз вплотную приблизилась к тайне. Она обратилась к уличной цыганке с просьбой погадать на картах, но карты ничего не рассказали по поводу ее будущего в Барранкасе. Хотя цыганка и сообщила ей, что не существует никаких препятствий для долгой и счастливой жизни с далеким мужчиной, с которым пока едва знакома, но который будет любить ее до самой смерти. От описания внешности мужчины она воспрянула душой, так как узнала черты своего суженого. Без тени сомнения цыганка предсказала, что у них будет шестеро детей.

– Я чуть не умерла от страха! – призналась мне мать, когда впервые об этом рассказывала, – она не представляла себя матерью и пятерых детей.

Она сообщила о встрече с гадалкой Габриэлю Элихио. И оба влюбленных восприняли предсказание с таким воодушевлением, что переписка их из спонтанной, словно все еще прощупывающей несколько иллюзорные взаимные намерения, превратилась в методично стабильную и чрезвычайно интенсивную, как никогда прежде. Они обговаривали дату, место, когда и где поженятся, несмотря ни на какие преграды и препоны, уже никого не слушая, пусть им грозят проклятием и даже смертью.

Луиса Сантьяга настолько вошла в роль будущей верной жены, что в селении Фонсека не принимала приглашения на торжественный бал без позволения жениха. Габриэль Элихио спал, обливаясь потом в сорокаградусную жару в гамаке, когда раздался сигнал срочного телеграфного уведомления. Это была его коллега из Фонсеки. Для большей безопасности она осведомилась, кто на телеграфном ключе в конце цепи. Более удивленный, чем польщенный, жених передал: «Сообщите, что это ее крестник». Услышав их своеобразный пароль, мать ответила и всю ночь провела на балу, а в шесть утра поспешила домой, чтобы переменить платье с воланами, чтобы не опоздать на мессу в церковь.

В Барранкасе не заметно была и следа былой ненависти к семье. Через шестнадцать лет после трагедии среди родственников Медардо Пачеко преобладал христианский дух прощения, а об отмщении уже не было и речи. Напротив, семью встретили настолько сердечно, что Луиса Сантьяга всерьез задумалась о возвращении в этот приют спокойствия без пыли и зноя Аракатаки, без ее кровавых суббот и всадников без головы. Она сообщила о своем намерении Габриэлю Элихио – при условии, конечно, если он добьется перевода в Риоачу. Он был

согласен с невестой. В те дни душу ей согрела не только идея переезда, но и осознание того, что никто ее не любит больше Мины. Об этом та и написала в ответном письме своему сыну Хуану де Дьосу, когда тот выразил тревогу по поводу возможного возвращения в Барранкас до того, как минует двадцать лет со смерти Медардо Пачеко. Хуан де Дьос настолько свято верил в непреложность законов гуахино, в том числе касающихся кровной мести, что даже полвека спустя не давал согласия своему сыну Эдуарде на то, чтобы он поступил на службу социальной медицины в Барранкас.

Буквально в три дня были распутаны узлы ситуации. В тот же вторник, когда Луиса Сантьяга подтвердила Габриэлю Элихио, что Мина не думает о переезде в Барранкас, ему сообщили, что из-за внезапной смерти штатного телеграфиста в Риоачи место вакантно и он может его занять. На следующий день Мина, опорожняя выдвижные ящики кладовой в поисках ножниц для кройки, открыла коробку с английскими галетами и обнаружила спрятанные там любовные письма дочери. Ее гнев не знал предела, но она лишь ограничилась одним из своих знаменитых перлов, которые она выдавала в плохом настроении: «Бог может простить все, кроме непослушания родителям!» В конце недели они отправились в Риоачу, чтобы успеть к пароходу из Санта-Марты. Обе женщины плохо отдавали себе отчет в том, что происходило во время плавания в ту ужасную ночь с февральским штормом: мать, опустошенная и разбитая поражением, дочь – перепуганная, но безумно счастливая.

Но ощутив под ногами твердую землю, Мина обрела и обычное свое самообладание.

На следующий день она одна отправилась в Аракатаку, оставив Луису Сантьягу в Санта-Марте под присмотром своего сына Хуана де Дьоса, надеясь, что оставила дочь защищенной от любовных дьяволов. Но произошло все с точностью до наоборот: в то же самое время Габриэль Элихио поехал из Аракатаки в Санта-Марту, чтобы видеться с невестой сколько душе будет угодно. Дядя Хуанито, в свое время влюбившись в Дилию Кабальеро, так же пострадавший от родительской непреклонности, решил держаться в стороне от нынешних влюбленностей сестры, но между безоглядностью любви Луисы Сантьяги и родительской опекой оказался как между молотом и наковальней. Он поспешил укрыться за баррикадами своей вошедшей в поговорку доброты, он допускал, чтобы влюбленные виделись вне дома, но ни в коем случае не наедине и так, чтобы он об этом не знал. Дилия Кабальеро, его жена, не забывшая молодость, искусно плела те же сети уловок и хитростей, которыми когда-то вводила в заблуждение и усыпляла бдительность своих будущих свекра и свекрови. Габриэль и Луиса сначала встречались в домах друзей, но постепенно рискнули встречаться и в малолюдных общественных местах. В конце концов они осмеливались даже беседовать через окно, когда дяди Хуанито не было дома, невеста из зала, жених с улицы, верные распоряжению не видеться в доме. Казалось, большое, в человеческий рост окно с андалузской решеткой, обрамленное каймой व्यюнов и жасмина, дурманящего в ночи, нарочно создано для любовных излияний. Дилия предусмотрела все, включая пособничество некоторых соседей, шифрованными свистками предупреждавших влюбленных о близкой опасности. Тем не менее однажды ночью страховки рухнули, и Хуан де Дьос был вынужден смириться с обстоятельствами. Дилия не упустила случая, пригласила влюбленных присесть в гостиной с окнами, распахнутыми для того, чтобы они разделили свою любовь со всем миром. Мать никогда не могла забыть вздоха брата: «Господи, какое облегчение!»

В те дни Габриэль Элихио получил официальное назначение в телеграф Риоачи. Расстроенная очередной разлукой, моя мать прибегла к посредничеству монсеньора Педро Эспехо, действующего викария епархии, в надежде, что он их обвенчает даже без благословения родителей. Непреложный авторитет и абсолютная безупречность монсеньора достигли такой высоты, что многие прихожане уже принимали его за святого, а некоторые являлись на его мессы только за тем, чтобы удостовериться, что в момент Поднятия святых даров он отрывается от грешной земли на несколько сантиметров и висит в воздухе. Когда Луиса Сантьяга

стала умолять его о помощи, он явил еще один пример тому, что ум – это единственное преимущество святости. Он отказался вмешиваться во внутренние дела семьи, столь ревностной в своей частной жизни, но все же дал понять, что окажет содействие, и через курию навел справки о семье Габриэля Элихио. Приходский священник предпочел умолчать о более чем свободных нравах Агремиры Гарсиа. В весьма доброжелательном тоне он ответил: «Речь идет о семье уважаемой, добропорядочной, хотя и не очень набожной». Монсеньор побеседовал тогда с влюбленными, вместе и по отдельности, очень откровенно, эти беседы можно было бы отнести к разряду исповедей, и написал письмо Николасу и Транкилине, в котором эмоционально выразил свою уверенность, что не в силах смертных разорвать столь крепкую любовь и что на все воля Божия. Мои бабушка с дедом, признав свое бессилие перед Богом, скрепя сердце согласились перевернуть скорбную для них страницу жизни и дали Хуану де Дьосу все необходимые полномочия на организацию свадьбы в Санта-Марте. Но они на ней не присутствовали, лишь послали в качестве посаженной матери Франсиску Симодосеа.

Они обвенчались 11 июня 1926 года в кафедральном соборе Санта-Марты с опозданием на сорок минут, потому что в голове счастливой невесты все спуталось и она проспала, разбудили ее лишь в восемь часов утра. Той же ночью они взошли на борт шхуны и отправились в Риоачу, чтобы Габриэль Элихио принял дела на телеграфе, и первая их брачная ночь на бурном море прошла в целомудренных страданиях от морской болезни.

Моя мать так тосковала по дому, где прошел медовый месяц, что мы, ее старшие дети, могли описать его комната за комнатой, как будто сами там жили, и во мне до сих пор жива иллюзия, что я очень хорошо его помню. Тем не менее, когда почти уже в шестьдесят лет я впервые отправился на полуостров Ла Гуахира, меня удивило, что дом, в котором расположен телеграф, не имеет ничего общего с домом из моих воспоминаний. И вся идиллическая Риоача, которую я носил с детства в своем сердце, из мира моих грез, ничего общего не имела с настоящей, с ее покрытыми селитрой улицами, которые спускаются к затянутому тиной мутному морю. Но и теперь, когда я познакомился с реальной Риоачей, мне все же не удастся представить ее такой, какой она является на самом деле, я вижу ту, что была выстроена камень за камнем в моем воображении.

Два месяца спустя после свадьбы Хуан де Дьос получил телеграмму от моего отца с известием, что Луиса Сантьяга беременна. Сообщение потрясло до самого фундамента дом в Аракатаке, где Мина еще не пришла в себя от своего поражения, и они с полковником сложили оружие и согласились, чтобы молодожены вернулись к ним. Но все оказалось не так просто. После многомесячного упорства и пререканий не забывший обиды Габриэль Элихио все-таки согласился на то, чтобы его жена родила в доме своих родителей.

Через некоторое время дед встретил его с поезда на станции фразой, которой суждено было быть вписанной золотом в историю семьи:

– Я готов к сатисфакции по всем вопросам, которые вас занимают.

Бабушка обновила спальню, которая до тех пор была ее собственной, и там устроила моих родителей. Через год Габриэль Элихио отказался от работы телеграфиста, решив полностью посвятить себя ремеслу не менее занимательному, в котором он также был самоучкой: гомеопатии. Дед, из признательности или угрызений совести, выхлопотал у властей, чтобы улица, на которой мы жили в Аракатаке, носила имя, которым назван и проспект, имя человека, возможно, сыгравшего главную роль в этой любовной истории, – Монсеньора Эспехо.

Там и родился первый из шести детей мужского пола и четырех женского, в воскресенье 6 марта 1927 года, в девять часов утра, под бурный ливень не по времени года, когда небо с созвездием Тельца сливалось с горизонтом. Он был едва не задушен собственной пуповиной, потому что семейной акушерке Сантос Вильеро в решающий момент изменило ее искусство. Но тетя Франсиска вообще впала в ажитацию, она добежала до входной двери, распахнула ее и завопила на всю улицу, как на пожар:

– Мальчик! Мальчик! – И потом, будто звоня в набат: – Рому, рому, он задыхается!

Слава Богу, поняли, что ром нужен не для того, чтобы срочно отметить рождение, а дабы растереть тельце новорожденного. Сеньора Хуана де Фрейтес, которая по воле providения в эту минуту вошла в спальню, мне потом много раз рассказывала, что смертельный риск представляла собой не столько удушавшая меня пуповина, сколько неправильная поза моей матери в постели. Она вовремя все исправила, но реанимировать меня было нелегко – спасла святая вода, которой в самый последний момент успела окропить меня тетя Франсиска.

Назвать меня должны были Олегарио, был как раз день этого святого, но ни у кого не оказалось под рукой святцев, так что мне дали первое имя моего отца и следом имя Хосе, плотника, в связи с тем, что он был покровителем Аракатаки и, кроме того, стоял его месяц март. Сеньора Хуана де Фрейтес предложила еще и третье имя в память о всеобщем примирении, которое было достигнуто между семьями и друзьями с моим приходом в этот мир, но при совершении таинства крещения три года спустя его добавить забыли: Габриэль Хосе де ла Конкордиа.

## 2

В тот день, когда мы с матерью поехали продавать наш старый дом, мне вспомнилось многое из того, что с раннего детства отпечаталось в памяти, но очередность и значение событий с точностью восстановить я не мог. Как не мог и отделить выпененно-фальшивую роскошь банановой компании на фоне провинциальной убогости и наивную свадьбу моих родителей от окончательного упадка Аракатаки. С тех пор как себя помню, я слышал одну и ту же фразу, повторявшуюся поначалу тихо, потом громче и громче, а потом и во всеуслышание, едва ли не с паническим ужасом: «Говорят, компания уходит». Но этому либо не верили, либо даже и не осмеливались думать об опустошительных последствиях.

Версия моей матери была настолько неубедительной и блеклой по сравнению с масштабами произошедшей грандиозной трагедии, что не могла не разочаровывать. Позже я расспрашивал уцелевших очевидцев, перекопал горы документов и прессы и пришел к выводу, что до истины все же не докопаться. Конформисты уверяли, что не произошло ничего страшного, убитых вообще не было. Радикально настроенные настаивали на том, что было более сотни жертв, трупы побросали в вагоны, точно мешки, сочившиеся кровью, вывезли на товарняке и вышвырнули в море, как банановую кожуру. Таким образом, мое собственное представление о том, что и как происходило на самом деле, в какой-то момент зависло между двумя крайностями. И все-таки трагическая версия настолько укоренилась в моем сознании, что в одном из романов я изобразил событие в самых кошмарных и кровавых тонах. Чтобы придать трагедии эпический масштаб, число погибших я довел до трех тысяч. Реальность приняла мою правду: недавно, в годовщину расстрела, спикер сената публично попросил почтить минутой молчания память трех тысяч безвинно павших.

В качестве одного из аргументов массового расстрела приводился тот, что среди организаторов забастовки были коммунисты. Возможно, это правда. Наиболее полную информацию я получил от Эдуардо Маэче, с которым познакомился в тюрьме Модело в Барранкилье в дни, когда мы с матерью поехали продавать дом, и, представившись внуком Николаса Маркеса, с тех пор накрепко подружился. Он сообщил мне, что мой дед не только не был в стороне, но, напротив, как человек уважаемый и весьма авторитетный принимал активное участие в переговорах во время забастовки 1928 года. После бесед с Эдуардо мое видение социального конфликта стало более объективным. Но главным расхождением в версиях осталось количество убитых, и это, конечно, основное во всей истории.

Многие воспоминания не проясняли, а, напротив, стужали туман. В том числе и мои собственные: мне казалось, что я помню себя сидящим на пороге дома с игрушечным ружьем, когда по улице в тени миндальных деревьев проходил батальон полицейских, обливавшихся потом. Один из офицеров, командовавших батальоном, проходя мимо, шутливо попрощался со мной:

– Пока, капитан Габи!

Но уверенности в том, что все так и было на самом деле, конечно, нет, да и можно ли доверять памяти?.. Униформа, каска, ружье цепко держались в памяти еще года два после расправы над забастовщиками, когда давно уже и след военных простыл у нас в Катаке. Мои личные воспоминания, которым взрослые не верили, были сродни воспоминаниям эмбриона в утробе матери или каким-то вещим снам.

Таковым было состояние окружающего мира, когда я начал себя осознавать и ничего другого не запомнил – лишь боль, грусть, неуверенность, одиночество в огромном доме. На протяжении долгих лет меня мучили по ночам кошмары, преследуя до самого утра. В отрочестве в холодном колледже в Андах я многожды просыпался от собственного крика. Мне нужно было самому дожить до старости, чтобы понять то сиротство и ностальгию, в которых пребы-

вали мои дед с бабушкой. Точнее сказать, они проживали в Катаке, но душой оставались в провинции Падилья, которую мы все просто называли Провинцией, без уточнения, как будто и так все всем было понятно и другой в мире быть не могло. Возможно, и не задумываясь об этом, подсознательно они построили в Катаке дом, выдержанный в помпезном стиле дома в Барранкасе, из окон которого виднелось на другой стороне улицы кладбище, где покоился Медардо Пачеко.

В Катаке они были уважаемы и любимы, но их жизнь, словно незримой пуповиной, была связана с родной землей. Они сплотились и оградились от внешнего мира баррикадами предрассудков, верований, привычек. Все их дружеские связи сложились еще до того, как они оставили Провинцию. Домашний язык был тем, который их деды в прошлом веке привезли из Испании через Венесуэлу, но разбавленный и разукрашенный карибскими словечками и выражениями африканских рабов, а также наречия гуахино. Бабушка использовала его, когда хотела от меня что-то скрыть, не зная, что благодаря общению со слугами я прекрасно все понимаю. Я и по сей день помню: атункеши – я хочу спать, хамусаитши тайа – я голоден, ипувотс – беременная женщина, арихуна – приезжий. Последнее бабушка употребляла, чтобы обозначить «белого человека», испанца, в качестве недруга. Гуахино же со своей стороны говорили на кастильяно, классическом испанском с причудливо посверкивающими вкраплениями, своеобразными уточнениями, как, например, наша Чон, которую бабушка то и дело поправляла: «Коровьи уста».

Дня не проходило без известий о том, кто родился в Барранкасе, скольких забодал бык в корале Фонсеки, кто женился в Манауре или умер в Риоаче, как провел ночь генерал Сокаррас, тяжело болевший в Сан-Хуан-дель-Сезар.

В правлении банановой компании по бросовым ценам продавались яблоки из Калифорнии, завернутые в тонкую оберточную бумагу, окаменевшие во льду окуни, ветчина из Галисии, греческие оливки. Но почти ничего в доме не подавалось к столу без приправ из ностальгии: маланга для супа непременно должна была быть из Риоачи, маис для лепешек к завтраку из Фонсеки, козлята должны были быть обязательно выращены на пастбище Гуахиры, а черепахи и лангусты – доставлены живыми из Дибуйи. Прибывающие в большинстве своем были из Провинции, притом всегда почему-то с одними и теми же фамилиями: Риаско, Ногүэра, Овалье, порой и с вмешательством фамилий благородных родов – Котес и Игуаран. Приезжали на поезде и приходили пешком, иногда не имея с собой ничего, кроме котомки на плече, о визитах не предупреждали, но само собой разумелось, что если уж приходили, то оставались у нас завтракать или жить. Я не забуду ритуальной фразы бабушки при входе на кухню:

– Надо всякой всячины впрок наготовить, никто же не знает вкусов тех, кто придет.

Эта неразрывность с Провинцией была обусловлена и географически. Издревле компактно, точно остров, располагаясь в плодородном каньоне между Сьерра-Невадой в Санта-Марте и горами Периха в колумбийских Карибах, Провинция была открыта миру даже более, чем стране, благодаря связям с Антильскими островами через Ямайку или Курасао и с Венесуэлой, границы с которой фактически не существовало и никто не делал никаких различий по рангам или цвету кожи. Из внутренней же части страны, которая на медленном огне варилась в собственном соку, доносился угарный газ власти: новые законы, налоги, солдаты, дурные новости, привозимые с высоты в две тысячи пятьсот метров и с расстояния в восемь дней плавания по реке Магдалена на пароходе, топившемся дровами.

Такая островная природа породила своеобразную культуру, которую бабушка и дед насаждали в Катаке. Дом представлял собой гораздо больше, чем просто домашний очаг, – он был целым селением в селении. Мизансцены за огромным столом беспрерывно менялись, и лишь одна оставалась неизменной с тех пор, как мне исполнилось три года: полковник во главе стола и я на углу от него по правую руку. Остальные места занимались в первую очередь мужчинами, затем садившимися отдельно женщинами. Исключения делались по националь-

ным праздникам, например, 20 июля, и обеды длились до тех пор, пока все в доме-селении не поедят, а народу бывало много. Вечерами стол не накрывался, лишь на кухне раздавались чашки с кофе с молоком и чудесной бабушкиной выпечкой. Когда закрывалась входная дверь, каждый вешал гамак, где и как хотел, на разных уровнях, в том числе и на деревьях в патио.

Одно из самых ярких впечатлений детства – когда приехала целая группа похожих друг на друга мужчин в крагах и со шпорами наездников, с нарисованными пеплом на лбах крестами. Это были сыновья полковника от разных женщин, с которыми он встречался на просторах Провинции во время Тысячедневной войны, съехавшиеся из деревень, чтобы с почти месячным опозданием поздравить своего отца с днем рождения. Перед приходом к нам в дом они были на мессе Пепел и Крест, и кресты, которые нарисовал пеплом у них на лбах падре Ангарины, показались мне неким потусторонним знаком, тайна которого преследовала меня много лет, даже и после того, как я стал причащаться и привык к праздничным литургиям Святой недели.

Большинство из них родились после свадьбы бабушки и деда. Мина записывала их имена и фамилии в записную книжку, как только узнавала об их рождении, и скрепя сердце включила в состав семьи. Но ни ей, никому другому было непросто различать их до того шумного визита, когда каждый засвидетельствовал свою индивидуальность и своеобычность образа жизни. Впрочем, они все были серьезные и трудолюбивые, уже состоявшиеся мужчины, создавшие свои дома, рассудительные, но тем не менее заводные и азартные в общем веселье. Они побили в гостиную посуду, поломали розовые кусты, преследуя тельца, вознамерившись зачем-то его качать, дуплетом расстреливали наших кур для санчо и выпустили свинью, которая едва не затоптала с перепугу вышивавших в галерее женщин. Но никто в доме не серчал, не делал им замечаний – благодаря забившему с их приездом фонтану счастья.

Потом я часто виделся с Эстебаном Карильо, близнецом тети Эльвиры, большим искусником в ручных ремеслах, который, куда бы ни отправлялся, всегда имел при себе ящик инструментов, чтобы любезно чинить любую поломку в домах, которые посещал. Со своим чувством юмора и отменной памятью он заполнил для меня многие пробелы в истории семьи, казавшиеся безнадежными. Также в отрочестве я часто встречался с дядей Николасом Гомесом, ярким блондином в веснушках, который всегда бережно хранил свою незапятнанную репутацию лавочника в старинной исправительной колонии в Фундасион. Растроганный воспоминаниями о былом величии и веселии нашего дома, обычно он вручал мне на прощание сумку со съестными припасами с рынка, чтобы самому налегке куда-нибудь вновь отправиться. Рафаэль Ариас бывал всегда проездом, всегда в спешке, на муле в одежде всадника, у него едва хватало времени стоя выпить кофе на кухне. Других я встречал по отдельности в своих ностальгических странствиях, которые совершил позже по селениям Провинции, чтобы собрать и выверить материал для первых романов, но всегда ловил себя на мысли, что мне недостает креста из пепла на лбу – как непреложного свидетельства семейной принадлежности.

Многие годы спустя после смерти бабушки и деда и после того, как оставил наш дом на волю судьбы, я приехал в Фундасион на ночном поезде и уселся в единственном открытом в этот час месте, где можно было хоть как-то перекусить, там же, на станции.

На стол почти нечего уже было подавать, но хозяйка симпровизировала в мою честь вполне приличное блюдо. Она была бойкой на язык и предупредительной, но за внешней мягкой оболочкой угадывался фамильный женский характер. И это мое ощущение подтвердилось через несколько лет: бойкая хозяйка бодеги оказалась Сарой Нориега, еще одной моей неизвестной теткой.

Аполинар, старый слуга, маленький крепыш, которого я всегда воспринимал как своего дядю, исчез из дома на многие годы, но однажды вечером вдруг объявился, облаченный в траур, в шерстяном черном костюме и широкополой черной шляпе, надвинутой на глаза, полные безысходной печали. Пройдя на кухню, он сообщил, что приехал на похороны, но никто

его не понимал до тех пор, пока на другой день не пришло известие о том, что дедушка скоропостижно скончался в Санта-Марте, куда его второпях тайком привезли.

Единственный из моих дядьев, который имел вполне определенный вес в обществе, был и единственный консерватор – Хосе Мария Вальдебланкес, который во время Тысячедневной войны в качестве сенатора Республики присутствовал при подписании капитуляции на вилле Неерландии. В то время как среди побежденных противников находился его отец.

Я убежден, что формированием моей личности, образа мыслей и всей жизни на самом деле я в большей степени обязан женщинам: как членам семьи, так и прислуге. Они все были наделены сильным характером и нежным сердцем и со мной обращались как будто с заведомо обусловленной непринужденностью и щедростью земного рая. Одно из острейших моих воспоминаний – история, обескураживавшая своей внезапностью, ей я обязан лукавой Лусии, которая как бы невзначай завела меня в переулочек проституток и там вдруг задрала халат до пояса и продемонстрировала свою буйную медную растительность. Но меня тогда больше заинтересовали следы от укусов mosquitos, распростершиеся внизу ее живота подобно карте полушарий с темно-лиловыми дюнами и желтыми океанами. Другие женщины казались архангелами непосредственности, они спокойно переодевались, раздевались передо мной догола и купали меня, сажали на ночной горшок и сами садились передо мной, чтобы справить нужду, избавиться от своих тайн, забот, огорчений, как будто в моем сознании не могло что-либо увязаться и сложиться в единое целое.

Служанка Чон была совсем из простых. Она приехала из Барранкас с бабушкой и дедушкой, когда была еще ребенком, выросла на кухне и вошла в семью, но с тех пор, как сопровождала по Провинции мою влюбленную мать, с ней обращались как с тетей-компаньонкой. В последние годы жизни она по своей воле переехала в собственную квартиру в самой бедной части селения и жила тем, что с рассвета торговала на улицах шариками из дробленого маиса для кукурузных лепешек, сопровождая это родными для меня возгласами в утренней тишине: «Полуфабрикаты старой Чон!...»

У нее был красивый индейский цвет кожи, и всегда казалось, что она составлена из одних костей. Ходила босая, в белом тюрбане и завернутая в накрахмаленные хламиды типа плаща, часто посередине улицы, с эскортом молчаливых послушных дворняжек, круживших вокруг нее.

Дошло до того, что она стала частью деревенского фольклора. На некоторых карнавалах появлялся ряженный, похожий на нее, в ее хламидах и с ее присказкой, однако никому не удавалось так выдрессировать эскорт бездомных собак. Ее возгласы о полуфабрикатах обрели такую популярность, что сделались припевом известной песни, исполнявшейся под аккордеон. В одно злополучное утро два злобных пса набросились на ее добродушных дворняг, и, отчаянно защищая своих, Чон упала навзничь и сломала позвоночник. Несмотря на все старания и лекарства, которыми снабжал ее мой дед, она скончалась.

Другое яркое воспоминание из того времени – роды Матильды Арменты, прачки, которая работала в доме, когда мне было шесть лет. Я по ошибке зашел в ее комнату и застал ее на кровати с льняными простынями, голой, с широко раскинутыми ногами. Она выла от боли в окружении повивальных бабок, столпившихся вокруг и с криками помогавших ей разродиться. Одна вытирала ей пот с лица влажным полотенцем, другие с силой держали руки и ноги и массировали живот, чтобы ускорить роды. Сантос Вильеро, невозмутимый среди этого хаоса, шептал молитвы, одну за другой, с закрытыми глазами, склоняясь все ниже, и казалось, что он тонет между ляжек роженицы. Жара в комнате, наполненной паром кипящей воды в котелках, которые приносили с кухни, была невыносимой. Я вжался в угол, разрываясь между страхом и любопытством, и стоял там до тех пор, пока акушерка не вытащила из живота за щиколотки кусок живого мяса наподобие телятины, но с окровавленной кишкой, свисающей из пупка. Тогда одна из женщин обнаружила меня в углу и волоком вытащила из комнаты.



– Ты совершил свой первый смертный грех, – сказала она мне. И заклала, грозя пальцем: – Забудь, что ты видел так женщину.

Но женщина, с которой я действительно впервые согрешил, лишившая меня невинности, скорее всего не помышляла о том. Ее звали Тринидад, она была дочерью кого-то из тех, кто работал в доме, и едва начала расцветать смертоубийственно-прекрасным женским цветом. Ей было около тринадцати лет, но она носила то же платьице, что и в девять, настолько облегавшее ее тело, что она казалось даже более голой, чем без платья. Однажды ночью, когда мы с ней были одни во дворе, туда вдруг ворвалась музыка оркестра из соседнего дома, и Тринидад обеими руками схватила и притиснула меня к себе, чтобы танцевать, с такой исконной страстью, что во мне все захолонуло. Не знаю, что за магнетизм от нее исходил, но до сих пор иногда вздрагиваю и пробуждаюсь среди ночи взбудораженный и уверен, что и сейчас бы безошибочно узнал ее в темноте по прикосновению даже дюйма ее волшебной кожи, по магическому животному запаху.

В мгновение ока, будто момент истины, все существо мое пронзил такой всполох-разряд рая, ничего подобного которому никогда впоследствии я не испытывал и который не страшусь всю свою жизнь вспоминать как чудесную смерть. Тогда я и постиг неким непостижимым, ирреальным образом, что существует на свете великая порочная тайна плоти, о которой не ведал, но которая заложила такой вулкан в мое нутро, будто я о ней знал задолго до появления на свет. Напротив, женщины семьи всегда уверенно вели меня проверенным веками курсом целомудрия.

Утрата невинности утвердила меня и в знании, что не Сын Божий приносит нам подарки на Рождество, но говорить об этом не принято. Еще в десять лет отец открыл мне этот секрет взрослых, потому что был уверен, что я уже догадывался, и отвел в рождественские лавки, чтобы выбрать игрушки для моих братьев и сестер. Подобное же произошло со мной в отношении рождения детей, еще до того, как я тайно стал очевидцем родов Матильды Арменты; я покатывался со смеху, когда говорили детям, что аист их приносит из Парижа. Но я должен признаться, что ни в детстве, ни сейчас мне не удавалось соотнести роды и секс. Так или иначе, но думаю, что моя близость с прислугой могла стать началом нити, тайно связующей меня, смею надеяться, с прекрасным полом, и которая на протяжении всей моей жизни позволяла мне чувствовать себя более спокойно и уверенно с женщинами, чем с мужчинами. Также оттуда, быть может, и мое неколебимое убеждение в том, что именно на женщинах держится мир, в то время как мужчины вносят в него разлад, вечно стремясь творить историю.

Сара Эмилия Маркес имела, не подозревая о том, нечто общее с моей судьбой. Преследуемая с ранней юности ухажерами, которых не удостаивала даже взглядом, она вдруг решила сойтись с первым, кто ей показался симпатичным, и навсегда. Ее избранника, в свою очередь, роднило с моим отцом то, что он был приезжим незнамо откуда, с исправными документами, но неизвестными источниками дохода. Его звали Хосе дель Кармен Урибе Верхель, но иногда он подписывался только – Х. дель К. Прошло некоторое время, прежде чем узнали, кем он был в действительности и откуда приехал. Стало известно, что он пишет по заказу речи для чиновников, а также стихи о любви, которые публикует в собственной газете, периодичность коей зависит от воли Божией. С тех пор как он появился в доме, я неустанно и тайно восхищался его славой писателя, первого, которого я узнал в своей жизни. Мне хотелось быть таким же, как он, и я не успокаивался, пока тетя Мама не научилась делать мне прическу, как у него.

Я был первым в семье, кто узнал о его любовной тайне, это случилось однажды вечером, когда он зашел в дом напротив, где я играл со своими друзьями. Он отозвал меня в сторону, явно волнуясь, и дал мне письмо для Сары Эмили. Я знал, что она сидела у дверей дома, ожидая подругу. Я пересек улицу и, укрывшись под одним из миндальных деревьев, бросил письмо с такой точностью, что оно упало ей прямо на колени. В испуге она вскинула руки, но

крик застыл у нее в горле, когда она поняла, что это письмо в конверте. С тех пор Сара Эмилия и Х. дель К. стали моими друзьями.

Эльвира Карильо, сестра-близнец дяди Эстебана, скручивала и выжимала руками сахарный тростник с силой настоящей давилки. Она славилась больше своей грубой прямоотой, чем своей нежностью, с которой умела тем не менее обращаться с детьми, особенно с моим братом Луисом Энрике, который был годом младше меня. Для него, почему-то называвшего ее тетей Па, она являлась как строгой воспитательницей, так и сообщницей. Ее на каждом шагу преследовали неразрешимые проблемы. Она и Эстебан первыми приехали в дом в Катаке, но пока он искал свое призвание, чем только не занимаясь, какие профессии не меняя, она оставалась тетей в семье, не отдавая, возможно, себе отчета в том, насколько была ей необходима. Она исчезала, когда в ней не было необходимости, и непонятно откуда и как появлялась, когда оказывалась нужна. Будучи не в духе, она сама с собой разговаривала на кухне, помешивая еду в горшке, и во всеуслышание проклинала предметы, которые не могла найти. Тревожимая до полуночи загробным кашлем из соседней комнаты, она одна оставалась в доме после того, как похоронили стариков, пока сорняк пожирал пядь за пядью и домашние животные бесприютно блуждали по спальням.

Франсиска Симодосеа – тетя Мама – генеральша рода, которая умерла девственницей в шестьдесят девять лет, отличалась своими привычками и манерой говорить. Потому что ее культура не принадлежала Провинции, но феодальному раю саванн Боливара, куда ее отец, Хосе Мария Мехиа Видал, эмигрировал совсем юным из Риоачи со своим ремеслом ювелира. Она оставила расти до колен свои волосы цвета бурой свиной щетины, которые сопротивлялись седине, до старости. Она их мыла водой с эссенциями раз в неделю и садилась расчесывать в двери своей спальни, будто исполняя священный многочасовой церемониал, уничтожая в беспокойстве самокрутки из табака, которые курила наоборот – с огнем внутри рта, как делали военные-либералы, чтобы не быть обнаруженными противниками в ночной темноте. Ее манера одеваться также отличалась: она ходила в коротких юбках и корсажах из чистого льна и в бархатных туфлях без задника.

В противоположность благородству речи бабушки тетя Мама говорила на самом развязном народном жаргоне. Она не стеснялась в выражениях ни перед кем, ни при каких обстоятельствах и каждому выкладывала всю правду в лицо. Включая даже монахиню, учительницу моей матери в интернате в Санта-Марте, которую безо всякой причины прервала пустячной дерзостью: «Вы из тех, кто путают задницу с головой». Однако в ее устах эти выражения почти не казались ни грубыми, ни дерзкими.

Половину жизни она была хранительницей ключей от кладбища, она записывала и выдавала метрики о кончине и делала дома облатки для мессы. Она была единственной в семье, казалось, не терзавшаяся в противоречиях любви. Мы осознали это однажды вечером, когда врач готовился поставить ей зонд и она воспрепятствовала ему с доводом, который тогда я не понял: «Я хочу признаться вам, доктор, я никогда не знала мужчины».

С тех пор я часто слышал эту фразу, но никогда она мне не казалась ни хвастовством, ни сожалением, но только свершившимся фактом, не оставившим никакого следа в ее жизни. Напротив, она была изворотливой свахой, путавшейся в своей двойной игре между моими родителями и Миной.

У меня есть впечатление, что она лучше находила взаимопонимание с детьми, чем со взрослыми. Это она заботилась о Саре Эмили, пока та не переехала одна в комнату с деревянными балками в Кальехе. Тогда она приютила нас, меня и Марго, в своем жилище, хотя бабушка продолжала присматривать за моей личной гигиеной, а дедушка заниматься формированием из меня мужчины.

До сих пор меня тревожат воспоминания о тете Петре, старшей сестре дедушки, которая приехала из Риоачи к ним, когда ослепла. Она жила в комнате, смежной с бюро, где позже

располагалась ювелирная мастерская, и развивала волшебную ловкость, чтобы свободно двигаться в своих потемках без чьей-либо помощи. До сих пор я помню ее, как будто это было вчера, идущей без палки, будто зрячая, медленно, но без сомнений и руководствуясь только запахами. Она узнавала свою комнату по испарениям соляной кислоты из смежной ювелирной мастерской, галерею – по аромату жасминов из сада, спальню бабушки и дедушки – по алкогольному запаху мадеры, которой они растирали свои тела перед сном, комнату тети Мамы – по запаху масла в лампадах, и в конце галереи аппетитный запах кухни. Она была статной и тихой, с кожей, напоминавшей засохшие лилии, и волосами блестящего перламутрового цвета, которые носила распущенными до пояса и которыми занималась сама. Ее зеленые прозрачные глаза подростка меняли излучение в зависимости от состояния ее души. В любом случае это были случайные прогулки, потому что чаще она оставалась весь день в комнате с притворенной дверью и почти всегда одна. Порой она напевала вполголоса для себя самой, и ее голос можно было перепутать с голосом Мины, но ее песни были другие и более грустные. От кого-то я слышал, что это были романсы из Риоачи, но только уже взрослым я узнал, что на самом деле она пела на ходу сочиненные слова. Два или три раза я не смог воспротивиться искушению без спроса зайти в ее комнату, но ее там не обнаружил. Годы спустя, во время моих каникул бакалавра, я рассказал об этом своем впечатлении матери, но она поспешила убедить меня в моем заблуждении. Ее довод был категоричен, и я поверил ей без тени сомнений: тетя Петра умерла, когда мне не было и двух лет.

Тетю Венефриду мы звали Нана, и она была самой веселой и приятной в роду, но мне удается вызвать ее дух в своем воображении, только в постели больной. Она была замужем за Рафаэлем Кинтеро Ортегой, дядей Кинте, адвокатом бедных, родившимся в Чиа, что в пятнадцати лигах от Боготы и на той же высоте над уровнем моря. Но он так хорошо адаптировался на Карибах, что в преисподней Катаки нуждался в бутылках с горячей водой для ног, чтобы заснуть в прохладе декабря. Семья уже пришла в себя после несчастья с Медардо Пачеко, когда дяде Кинте досталось испытать свое за убийство адвоката противной стороны в судебной тяжбе. Он имел образ человека доброго и мирного, но противник изводил его без передышки, и у него не осталось другого средства, как вооружиться. Он был такой маленький и костлявый, что носил детские ботинки, и его друзья сердечно подшучивали над ним, потому что револьвер раздувался как пушка под его рубашкой. Дедушка его предупредил всерьез знаменитой фразой: «Вы не знаете, сколько весит смерть».

Но у дяди Кинте не было времени подумать об этом, когда враг преградил ему путь с бесноватыми криками в приемной суда и навис над ним своим чудовищным телом. «Я даже не осознал, как я выхватил револьвер и выстрелил в воздух двумя руками и с закрытыми глазами, – рассказал мне дядя Кинте незадолго до своей смерти в столетнем возрасте. – Когда я открыл глаза, – продолжал он, – я увидел его еще державшимся на ногах, большого и бледного, а потом он стал обваливаться очень медленно, пока не сел на пол». До тех пор дядя Кинте не отдавал себе отчета, что попал ему точно в центр лба. Я спросил его, что он почувствовал, когда увидел, что тот упал, и меня удивила его откровенность:

– Огромное облегчение!

Мое последнее воспоминание о его жене Венефриде – вечер больших дождей, когда колдунья изгоняла из нее злых духов. Она не соответствовала общепринятым представлениям о ведьмах, это была приятная женщина, хорошо одетая по моде, которая изгоняла пучком крапивы плохое расположение духа из тела, пока пела заклинание, как колыбельную песню. Вдруг Нана изогнулась в глубокой конвульсии, и птичка величиной с цыпленка с переливчатыми перьями выпорхнула из простыней. Женщина поймала ее в воздухе мастерским ударом и завернула в черный лоскут, который приготовила заранее. Она приказала разжечь костер во внутреннем дворике и безо всяких церемоний бросила птичку в пламя.

Но Нана не освободилась от своих напастей.

Немного спустя костер во дворе вновь разгорелся, когда курица снесла фантастическое яйцо, похожее на шарик для пинг-понга с отростком в виде фригийской шапки. Моя бабушка тут же его опознала: «Это яйцо василиска». Она сама бросила его в огонь, шепча заклинания.

Бабушку и дедушку всю жизнь вижу мысленным взором только в том возрасте, в котором они живут в моих воспоминаниях о той поре. Тот возраст, что на портретах, которые им сделали на заре старости, и чьи копии, с каждым разом все более тусклые, передавались, по родовому обряду, через четыре плодovitых поколения. Особенно портреты бабушки Транкилины, самой доверчивой и впечатлительной женщины, которую я когда-либо знал, испытывавшей ужас перед тайнами каждодневной жизни. Она старалась оживить свои обязанности, распевая во весь голос старые песни о влюбленных, но вскоре прерывала их своим воинственным криком против судьбы:

– Радуйся, Пресвятая дева Мария!

Потому что ей мерещилось, что кресла-качалки раскачиваются сами по себе; призрак послеродовой горячки проникает в спальни рожениц; запах жасминов из сада – невидимое привидение; веревка, вытащенная случайно из пола, имеет форму чисел, соответствующих главному выигрышу в лотерею; а птица без глаз заблудилась в столовой и изгнать ее можно только Акафистом. Она полагала, что можно расшифровать с помощью тайного кода тождество главных героев и мест из песен, которые к ней пришли из Провинции. Она представляла себе беды, которые рано или поздно случатся, предчувствовала, кто скоро придет из Риоачи в белой шляпе или из Манауре с кишечной коликой, которую только и можно вылечить желчью индейки, потому что сверх того, что была профессиональной предсказательницей, еще и владела тайной знахарства.

У нее была очень необычная система для толкования сновидений, своих и чужих, управлявших ежедневным поведением каждого из нас и определяющих жизнь дома. Тем не менее она едва не умерла без всяких предзнаменований, когда рывком сдернула простыню со своей кровати и тут же раздался выстрел револьвера, который полковник прятал под подушкой, чтобы иметь его под рукой даже во сне. По траектории пули, вонзившейся в потолок, установили, что он прошел очень близко от лица бабушки.

С тех пор как я себя помню, я страдал от утренней процедуры, во время которой Мина чистила мне зубы, а сама пользовалась магической привилегией вынимать свои, чтобы помыть их, и оставлять в стакане с водой, пока она спала. Убежденный, что это были ее натуральные зубы, которые она снимала и надевала с помощью волшебства гуахино, я заставил ее показать мне внутренность рта, чтобы увидеть изнутри, какой была обратная сторона глаз, мозга, носа, ушей, и страдал от разочарования, не увидев ничего, кроме нёба. Но никто не смог открыть мне смысл чуда, и уже через значительное время я настаивал, чтобы дантист сделал такие же зубы, как у бабушки, и она чистила бы их, пока я играю на улице.

У нас был своего рода секретный код, посредством которого мы оба общались с невидимым миром. Днем ее магический мир был для меня чарующим, но ночью причинял мне чистый и простой ужас: страх темноты, предшествующий нашему бытию, преследовал меня всю жизнь в моих одиноких скитаниях и даже в танцевальных клубах во всем мире. В доме бабушки и дедушки каждый святой имел свою комнату, и каждая комната имела своего мертвеца. Но единственный дом, гласно называющийся «домом мертвеца», был соседний. А его мертвец был единственным, чье прижизненное имя было установлено на спиритическом сеансе: Альфонсо Мора. Кто-то из его потомков взял на себя труд найти Мора в записях о крещениях и смертях, и обнаружил множество его тезок, но никто из них не подал знака, что это именно наш мертвец. Тот дом в течение многих лет был жилищем приходского священника, и родственник широко распространил слух, что призрак был призраком падре Ангариты, чтобы изгнать любопытных, которые шпионили за ним в своих ночных похождениях.

Мне не удалось познакомиться с Меме, служанкой-гуахино, которую семья привезла из Барранкас и которая однажды ночью в грозу убежала с Алирио, своим братом-подростком, но я всегда слышал, что они оба больше всех вплетали в домашнюю речь родной язык. Ее смешанный кастильский был восторгом поэтов, с того памятного дня, когда она нашла спички, которые потерял дядя Хуан де Дьос, и вернула их с победным выражением на своем жаргоне:

– Я здесь, твоя спичка.

Стоило труда поверить, что бабушка Мина, со своими сбитыми с толку женщинами, была экономической опорой дома, когда появились первые признаки нехватки средств существования. Полковник имел несколько разбросанных участков земли, которые были оккупированы белыми поселенцами, и он отказывался выгонять их. В одном затруднительном положении ему пришлось заложить дом в Катаке, дабы спасти честь одного из сыновей, и стоило целого состояния не потерять этот дом. Когда не было больше ничего, Мина продолжала поддерживать семью творимыми ею зверьками из карамели, которые продавались по всему селению, пестрыми курицами, утиными яйцами, овощами из внутреннего дворика. Она произвела радикальное сокращение услуги и оставила только необходимых слуг. Наличные деньги перестали иметь смысл в устной традиции дома. До такой степени, что когда понадобилось купить пианино для моей матери по ее возвращении из школы, тетя Па произвела подсчет точно в домашней монете: «Пианино стоит пятьсот яиц».

Среди толпы евангельских женщин дедушка олицетворял для меня несокрушимую надежность. Только с ним исчезала тревога, и я чувствовал себя твердо стоящим на земле обеими ногами и хорошо устроенным в реальной жизни. Удивительно, когда я думаю об этом сейчас, что я хотел быть, как он, реалистом, смелым, надежным, но при этом никогда не мог противиться неистребимому искушению – заглянуть в мир бабушки. Я вспоминаю его толстым и полнокровным, с редкими седыми волосами на блестящем черепе, с очень аккуратной щеткой усов и круглыми очками в золотой оправе. Он говорил размеренно, понимающий и примирительный в мирное время, но его враги-консерваторы запомнили его как грозного врага в военных противостояниях.

Он никогда не носил военной формы, потому как его чин был бунтарский, а не академический, но еще долго после всех войн он носил простую деревенскую рубашку с карманами, как было принято среди карибских ветеранов. С тех пор как был обнародован закон о военных пенсиях, он заполнил необходимые бланки с запросами, чтобы получить свою, и он, а также его жена и самые близкие наследники продолжали ждать ее до самой смерти. Бабушка Транкилина, которая умерла вдали от этого дома, слепая, дряхлая и наполовину безумная, говорила мне в последние моменты просветления: «Я умираю спокойно, потому что вы получите пенсию Николасито».

Тогда я впервые услышал это мифическое слово, которое посеяло в семье росток вечных иллюзий под названием «пенсия». Оно вошло в дом до моего рождения, когда правительство учредило пенсии для ветеранов Тысячедневной войны. Дедушка лично собрал документы, даже с излишком юридических свидетельств и доказательных документов, и сам отвез их в Санта-Марту, чтобы подписать протокол передачи. По самым скромным подсчетам, это была сумма, достаточная для него и его потомков до второго поколения. «Не беспокойтесь, – сказала нам бабушка, – деньги от пенсии достанутся всем». Почтальон, которого никогда не ждали с замиранием сердца в семье, превратился тогда в посланника Божественного Провидения.

Мне самому не удалось избежать этого груза неопределенности, исходившего изнутри. Тем не менее Транкилина иногда не хотела общаться ни с кем, кто носил ее фамилию. Во время Тысячедневной войны дедушка был посажен в тюрьму в Риоаче ее двоюродным братом, который был офицером армии консерваторов. Либеральная родня и она сама восприняли это как военный акт, перед которым мощь семейных связей ничего не стоила. Но когда бабушка

узнала, что мужа держали в колодках как уголовного преступника, она накинулась на брата, словно укротительница зверей, и заставила выдать его целым и невредимым.

Мир дедушки был совсем другим. Уже в свои последние годы он казался очень подвижным, когда ходил во все стороны со своим ящиком с инструментами, чтобы чинить неисправности в доме, или когда качал воду для купальни в течение многих часов ручным насосом во внутреннем дворе, или когда взбирался по лестнице, чтобы проверить количество воды в бочках. Но при этом он меня просил завязать шнурки на его ботинках, потому что задыхался, когда пытался сделать это сам. Он чудом остался в живых однажды утром, когда попытался поймать подслеповатого попугая, который взобрался на бочки. Ему удалось схватить его за шею, когда он поскользнулся на настиле и упал на землю с высоты четырех метров. Никто не смог объяснить, как ему удалось выжить со своими девятью килограммами и в свои пятьдесят с лишним лет.

Это был для меня памятный день, когда врачи обследовали его голым в постели пядь за пядью и спросили, что это за старый шрам в полдюйма, который они нашли у него в паху.

– Это след от военной пули, – сказал дедушка.

Те эмоции живы во мне до сих пор, как и тот день, когда я заглянул с улицы в окно его мастерской и узнал знаменитую шаговую лошадь, которую хотели ему продать, и вдруг понял, что глаза его наполнились водой.

Он постарался прикрыться рукой, и на его ладони остались несколько капель прозрачной жидкости. Он не только потерял правый глаз, но дедушка не позволил бы купить лошадь, населенную бесами. Он носил недолго пиратскую повязку на затуманенной глазной впадине, до тех пор, пока окулист не заменил ее хорошо подобранными очками и прописал ему деревянную трость, которая стала в итоге частью его индивидуальности, как жилетные часы на золотой цепочке, чья крышка открывалась с музыкальным щелчком. Он был всегда известен в обществе тем, что коварство лет, которое начало беспокоить его, совсем не повлияло на его сноровку тайного соблазнителя и хорошего любовника.

Во время ритуального омовения в шесть утра, которое в последние годы он совершал всегда вместе со мной, мы выливали воду из резервуара сосудом из тыквы и в итоге увлажнялись одеколоном «Ланман энд Кемпс», который контрабандисты из Курасао продавали ящиками по домам, вместе с бренди и рубашками из китайского шелка. Как-то раз я слышал от него, что это единственный аромат, которым он пользовался, так как думал, что его используют многие, но перестал так считать, когда кто-то узнал его на чужой подушке. Другая история, которую я слышал на протяжении лет, что однажды вечером, когда погас свет, вылил себе на голову флакон с краской, считая, что это его одеколон.

Для ежедневных домашних дел он всегда носил полотняные штаны с подтяжками, мягкие башмаки и вельветовую кепку с козырьком. Для воскресной мессы, которую он почти никогда не пропускал, разве что по соображениям высшей силы или по каким-то знаменательным датам и памятным дням, он одевался в полный костюм из белого льна с целлулоидным воротничком и черным галстуком. Эти скудные случаи, без сомнения, заслужили для него славу сумасброда и спесивца.

Впечатление, которое у меня осталось по сию пору, – что все, что имелось в доме, существовало для него. Это был образцовый патриархальный брак в матриархальном обществе, в котором мужчина был абсолютным монархом в доме, которым правила его жена. Скажем прямо: он был мачо. То есть мужчина чудесной мягкости в семье, которой он стыдился на публике, пока его жена сжигала себя, чтобы сделать его счастливым.

Бабушка с дедушкой совершили еще одно путешествие в Барранкилью в дни, когда отмечалось столетие смерти Симона Боливара в декабре 1930-го, чтобы присутствовать при рождении моей сестры Аиды Росы, четвертой в семье. Возвращаясь в Катаку, они увезли с собой Марго, которой было немногим больше года, и мои родители остались с Луисом Энрике и

новорожденной. Мне стоило труда привыкнуть к перемене, потому что Марго прибыла в дом как существо из другой жизни, хилая и дикая, и с непроницаемым внутренним миром. Когда ее увидела Абигаиль, мать Луиса Кармело Корреа, она не поняла, зачем бабушка с дедушкой взяли на себя груз подобных обязательств. «Эта девочка – не жилица», – сказала она. Во всяком случае, то же самое говорили обо мне, потому что я плохо ел, потому что моргал, потому что случался, которые я рассказывал, казались им такими чудовищными, что они верили лжи, не думая, что большая часть была точно по-другому. Только годы спустя я узнал, что доктор Барбоса был единственным, кто защищал меня с мудрым аргументом: «Ложь детей – это признак большого таланта».

Прошло много времени, прежде чем Марго подчинилась семейной жизни.

Она сидела в кресле-качалке и сосала палец, в самом неожиданном углу. Ничто не привлекало ее внимания, кроме боя часов, которые каждый час она искала своими большими мечтательными глазами. Бывало, что несколько дней не удавалось заставить ее поесть. Она отталкивала еду с драматизмом и иногда бросала ее в угол. Все удивлялись, как она еще жива без еды, пока не поняли, что ей нравится только сырая земля из сада да известковые лепешки, которые она выковыривала из стен ногтями. Когда бабушка открыла это, она полила коровьей желчью самые аппетитные участки сада и спрятала пикантный перец в цветочных горшках. Падре Ангарита окрестил ее на той же церемонии, которой подтвердил срочное крещение меня при рождении. Я принял его, стоя на стуле, и смело перенес кухонную соль, которую падре положил мне на язык, и кувшин с водой, вылитый мне на голову.

Марго, напротив, возмутилась за двоих, с криком раненого зверя и, сопротивляясь всем телом, которое крестным отцам и матерям с большим трудом удавалось удерживать в крестильной купели.

Сейчас я думаю, что ее связь со мной была более разумной, чем у взрослых. Наше сообщество было таким странным, что больше, чем в одном случае, мы угадывали мысли друг друга. Однажды утром мы с ней играли в саду, когда раздался свисток поезда, как каждый день в одиннадцать часов. Но на этот раз, услышав его, я ощутил необъяснимое провидение, что на этом поезде приехал врач банановой компании, который месяцами ранее дал мне отвар ревеня, от которого у меня случился приступ тошноты. Я побежал по всему дому с тревожными криками, но никто этому не поверил. Кроме моей сестры Марго, прятавшейся вместе со мной, пока врач не закончил завтрак и не уехал обратным поездом. «Слава Пречистой Марии! – воскликнула бабушка, когда нас нашли под ее кроватью. – С этими детьми не нужны телеграммы».

Я никогда не мог превозмочь страх остаться одному, особенно в темноте, но мне кажется, что у него было конкретное происхождение, и это то, что ночью материализовались все фантазии и предзнаменования бабушки. В семьдесят лет я все еще смутно различал во снах жар жасминов в галерее и призрак мрачных спален, и всегда с чувством, которое отравляло мне детство: ужас ночи. Сколько раз я чувствовал в моих бессонницах в гостиницах всего мира, что тень того мифического дома, как наказание, все еще со мной, дома, где мы умирали от страха каждую ночь много лет назад.

Самое удивительное, что бабушка, со своим чувством нереальности, могла поддерживать дом. Как возможно было направлять тот жизненный поезд с такими скудными ресурсами? Ни один из рассказов не дает на это ответ. Полковник выучился ремеслу у своего отца, который, в свою очередь, научился ему у своего. И, несмотря на известность его золотых рыбок, встречавшихся повсюду, они не были доходным делом. Более того, в моем детстве у меня создалось впечатление, что он делал их изредка или когда готовил подарок на свадьбу. Бабушка говорила, что он работает только на подарки. Тем не менее его слава хорошего чиновника пошла ему на пользу, когда партия либералов пришла к власти и он в разные моменты, в течение многих лет, был то казначеем, то управляющим имений.

Я не могу представить себе семейную среду более благодатную для моего призвания, чем этот безумный дом, особенно яркие характеры женщин, вырастивших меня. Единственными мужчинами были мой дедушка и я, и он посвятил меня в грустную реальность взрослых, с повествованиями о кровавых битвах и школьными объяснениями полета птиц и вечернего грома, и поддержал меня в моем увлечении рисованием. Сначала я рисовал на стенах, пока женщины дома не дошли до крика в небо: «На стенах рисует только сброд». Дедушка пришел в ярость, заставил выкрасить белым стену в своей мастерской и купил мне цветные карандаши, а позже коробку акварели, чтобы я рисовал, как мне нравится, пока он мастерил своих знаменитых золотых рыбок. Как-то раз я слышал, как он говорил, что внук будет художником, но это не произвело на меня впечатления, поскольку я считал, что художники – это только те, кто красит двери.

Кто меня знал в четыре года, говорят, что я был бледный и задумчивый и открывал рот только для того, чтобы произнести нелепости, но мои рассказы были большей частью о простой повседневной жизни, которые я делал более привлекательными, украшая их фантастическими подробностями, с одним желанием – привлечь к себе внимание взрослых. Моим лучшим источником вдохновения были разговоры, которые взрослые вели при мне, думая, что я их не понимаю, или которые они намеренно зашифровывали, чтобы я ничего не понял. Было все наоборот: я их впитывал как губка, разбирал на части, перемешивал, чтобы скрыть источник, и когда я рассказывал им самим то, о чем они говорили, они оставались озадаченными совпадениями между моими историями и их взрослыми мыслями.

Порой я не знал, что делать со своим сознанием, и старался приуменьшить его быстрым миганием. Я столько это делал, что один семейный рационалист решил показать меня главному врачу, который счел мои моргания проявлением болезни миндалин и прописал сироп из редьки, смешанный с йодом, который явно пошел мне на пользу и успокоил взрослых. Бабушка со своей стороны пришла к провидческому заключению, что внук – прорицатель. Это превратило ее в мою излюбленную жертву до того дня, когда она упала в обморок, потому что представила в действительности, что у дедушки изо рта вылетела живая птица. Испуг, что она умрет по моей вине, был первым средством, умеряющим мою раннюю необузданность. Теперь я думаю, что это не были детские подлости, как можно было подумать, но рудиментарные проявления будущего рассказчика в зачаточном состоянии, чтобы сделать реальность более веселой и понятной.

Моим первым шагом в реальную жизнь было открытие футбола посреди улицы или на каких-нибудь соседних плантациях. Моим учителем был Луис Кармело Корреа, который родился с личным спортивным инстинктом и наследственным талантом к математике. Я был на пять месяцев старше его, но он шутил надо мной, потому что рос гораздо быстрее меня. Мы начали играть мячами из лоскутов, и я достиг того, что стал хорошим вратарем, но когда мы перешли на правильный мяч, я пострадал от удара в живот от такого мощного его броска, что даже ощутил гордость. В моменты, когда мы встречались уже взрослыми, я с большой радостью убеждался, что мы продолжаем обращаться друг с другом так же, как когда были детьми. Однако самым моим впечатляющим воспоминанием о той поре был мимолетный проезд директора банановой компании на роскошном открытом автомобиле рядом с женщиной с длинными золотистыми волосами, развевающимися по ветру, и с немецким пастором, восседавшим, словно король на почетном месте. Они были моментальными проявлениями далекого и неправдоподобного мира, который был запретным для нас, смертных.

Я начал прислуживать на мессе без чрезмерного легковерия, но со строгостью, о которой мне говорили, что это, пожалуй, основная составляющая веры. Должно быть, по причине этих добродетелей меня привели в шесть лет к падре Ангарита, чтобы приобщить к таинству первого святого причастия. Жизнь моя поменялась. Со мной начали обращаться как со взрослым, и старший ризничий учил меня прислуживать на мессе. Моей единственной проблемой



было то, что я не мог понять, в какой момент я должен был звонить в колокол, и я звонил, когда придется, по чистому и простому вдохновению. На третий раз падре обернулся ко мне и приказал мне сурово, чтобы я в него больше не звонил. Хорошей частью ремесла было, когда другой служка, ризничий и я оставались одни, чтобы привести в порядок ризницу, и мы ели оставшиеся облатки со стаканом вина.

Накануне первого причастия падре исповедал меня без предисловий, сидя, как настоящий папа на тронном кресле, и я на коленях перед ним на плюшевой подушке. Мое понимание добра и зла было довольно простым, но падре помог мне вместе со словарем грехов, чтобы я ответил, какие я совершал, а какие нет. Он полагал, что я отвечаю хорошо, пока он не спросил меня, не совершал ли я грязных действий с животными. У меня было смутное понятие, что некоторые старшие совершали с ослицами грех, который я никогда не понимал, но только тем вечером я узнал, что такое тоже возможно с курицами. Таким образом, мой первый шаг к первому причастию был еще одним большим скачком в потере невинности, и я не нашел никакого стимула, чтобы оставаться служкой.

Мое испытание огнем было, когда родители переехали в Катаку с Луисом Энрике и Аидой, моими братом и сестрой. Марго, которая едва вспомнила папу, была от него в ужасе. Я тоже, но со мной он всегда был более осторожным. Только однажды он снял ремень, чтобы выпороть меня, и я выпрямился в позиции выдержки, закусил губы и раскрыл глаза, готовые перенести происходящее, не заплакав. Он опустил руку и надел ремень, ругая меня сквозь зубы за то, что я сделал. Позже в наших пространных взрослых разговорах он мне признался, что ему было очень больно нас пороть, но он делал это только из страха, что мы вырастем несчастными. В хорошие моменты он был веселым. Ему нравилось рассказывать забавные истории за столом, и некоторые были очень хороши, но он их повторял столько, что однажды Луис Энрике поднялся и сказал:

– Сообщите мне, когда все закончат смеяться.

Однако знаменательная порка произошла вечером, в который Луис Энрике не появился ни в доме родителей, ни в доме дедушки, и его долго искали, пока не обнаружили в кино. Сельсо Даса, продавец прохладительных напитков, налил ему один из сапоты в восемь вечера, и он исчез вместе со стаканом и не расплатился. Продавщица уличной еды продала ему пирог и видела его немного времени спустя, когда он разговаривал с привратником кинотеатра, пустившего его бесплатно, потому что он наврал, что его внутри ждет отец. Шел фильм «Дракула» с Карлосом Виллариасом и Лупитой Товар режиссера Джорджа Мелфорда. В течение многих лет Луис Энрике рассказывал мне о своем ужасе в момент, когда граф Дракула начал вонзать клыки вампира в шею красавицы, а в кинотеатре вдруг зажегся свет. Он находился в самом укромном месте, на балконе, там были свободные места. Он не окликнул папу и дедушку, которые прочесывали ряд за рядом вместе с владельцем кинотеатра и двумя полицейскими. Они едва не сдались, когда Папалело вдруг нашел его на последнем ряду балкона и помахал палкой:

– Он здесь!

Папа крепко схватил его за волосы, и порка, которую он задал ему дома, осталось как легендарное наказание в истории семьи. Мой ужас и восхищение тем актом независимости моего брата остались навсегда в моей памяти. Но он, казалось, все переносил каждый раз более героически. Тем не менее и сейчас меня интригует, что его непокорность не проявлялась в те редкие моменты, когда папы не было дома.

Я укрывался больше в тени дедушки. Всегда мы были вместе, по утрам в мастерской или в его кабинете управляющего имением, где он нашел мне счастливое занятие: рисовать клейма для коров, которых собирались забить, и воспринимал это с такой серьезностью, что уступил мне свое место за письменным столом. На обеде со всеми гостями мы с ним сидели во главе стола, он со своим большим кувшином из алюминия для холодной воды, и я с серебряной ложкой, которая служила мне для всего. Он обратил внимание, что если я хотел кусочек льда,

то засовывал руку в кувшин, чтобы достать его, и на воде оставалась пленка жира. Бабушка меня защищала: «Он имеет все права».

В одиннадцать часов мы шли встречать поезд, потому что его сын Хуан де Дьос, который жил в Санта-Марте, посылал ему каждый день письмо с дежурным кондуктором, получавшим за это пять сентаво. Дедушка отвечал с помощью еще пяти сентаво с обратным поездом. Вечером, когда садилось солнце, он вел меня за руку по своим личным делам. То в парикмахерскую, которая находилась в четверти часах пути от дома, самого длинного в детстве, то смотреть на салют, от которого я пугался, во время национальных праздников, то на процессии Святой недели, с мертвым Христом, в моем детском воображении состоящим из человеческой плоти. Я носил тогда кепку в шотландскую клетку, такую же, как у дедушки, которую Мина купила, чтобы я больше походил на деда. И так хорошо мне это удалось, что дядя Кинте видел нас как одного человека в разных возрастах.

Выбрав на свое усмотрение то или иное время дня, дедушка вел меня за покупками в аппетитный комиссариат банановой компании. Там я узнал, что такое окунь, и впервые потрогал рукой лед, и меня потрясло открытие, до чего он был холодный. Я был счастлив попробовать все, что мне заблагорассудится, но мне надоедали партии в шахматы с Белгой и разговоры о политике. Теперь я осознаю все же, что в тех долгих прогулках мы видели два разных мира. Дедушка видел свой на своем горизонте, и я видел свой, на уровне моих глаз. Он приветствовал своих друзей на балконах, а я страстно мечтал об игрушках, выставленных торговцами на тротуарах.

В первый вечер мы задержались во всеобщем шуме на Четырех Углах, он, болтая с доном Антонио Даконте, который встретил его, стоя в дверях своей пестрой лавки, и я, изумляясь новинкам со всего мира. Меня сводило с ума, как фокусники с ярмарки вытаскивали кроликов из шляп, глотали горящие свечи, как чревоушатели заставляли говорить животных, как аккордеонисты громко пели о том, что произошло в Провинции. Сегодня я осознаю, что один из них, очень старый и с белой бородой, мог быть легендарным Франсиско эль Омбре.

Каждый раз, когда фильм ему казался подходящим, дон Антонио Даконте приглашал нас на ранний сеанс в свой салон «Олимпия», к прискорбию бабушки, которая считала это неподобающим развратом для невинного внука. Но Папалело настаивал и на следующий день заставлял меня рассказать фильм за столом, поправлял мои ошибки и забытые моменты и помогал мне восстановить непередаваемые эпизоды. Это были начатки драматического искусства, без сомнения, мне чем-то послужившие, особенно когда я начал рисовать комиксы раньше, чем научился писать. Сначала меня хвалили с благодарностью к малому дитя, но мне так нравились легкие рукоплескания взрослых, что те в итоге начали скрываться от меня, когда слышали, что я иду. Позже я достиг того же и с песнями, которые меня заставляли петь на свадьбах и днях рождения.

Перед тем как идти спать, мы проводили кучу времени в мастерской Белги, ужасного старца, который появился в Аракатаке после Первой мировой войны, и я не сомневаюсь, что он был бельгийцем, вспоминая его оглушительный выговор и ностальгию мореплавателя. Другим живым существом в его доме был большой датский дог, глухой и педерастичный, с именем как у президента Соединенных Штатов: Вудро Вильсон. Я познакомился с Белгой в четыре года, когда дедушка ходил играть несколько партий в шахматы, молчаливых и нескончаемых. В первый же вечер меня поразило, что в его доме не было ничего из того, что я знал и понимал, для чего оно служит. Потому что он был художником во всем и жил среди беспорядка своих собственных произведений, пастельных морских пейзажей, фотографий детей с дней рождений и первого причастия, копий азиатских драгоценностей, статуэток, сделанных из бычьего рога, старинной мебели разных стилей, сваленной в кучу.

Мое внимание привлекла его кожа, обтягивающая кости, того же солнечного желтого цвета, что и шевелюра, и прядь волос, вечно падающая ему на лицо и мешавшая говорить. Он

курил трубку морского волка, которую разжигал только за шахматами, и мой дедушка говорил, что это уловка, чтобы задымить противника. У него был один выпученный стеклянный глаз, который казался более заинтересованным в собеседнике, чем второй здоровый. Ниже пояса он был инвалидом, наклоненным вперед и скрученным вправо, но он плавал как рыба среди подводных камней своей мастерской, казалось, подвешенный, а не поддерживаемый деревянными костылями. Я никогда не слышал, чтобы он хвалился своими отважными морскими походами. Единственной его страстью вне дома было кино, и он не пропускал ни одного фильма любого жанра по выходным.

Я никогда его не любил, и меньше всего во время шахматных партий, в которых он медлил часами, прежде чем передвинуть фигуру, пока я проваливался в сон. Однажды вечером я увидел его таким беспомощным, что меня охватило предчувствие, что он скоро умрет, и я ощутил жалость к нему. Но со временем мне так надоели эти игры, что в итоге я всем сердцем захотел, чтобы он умер.

В ту пору дедушка повесил в столовой картину с изображением Освободителя Симона Боливара в пылающем кабинете. Мне стоило труда понять, что он не был в саване мертвеца, который я видел на ночных бдениях по покойным, но вытянулся на письменном столе кабинета в форме своих славных дней. Заключительная фраза дедушки освободила меня от сомнений.

– Он был особенный.

И немедленно козлиным голосом, который казался не его, он мне прочитал длинную поэму, повешенную рядом с картиной, из которой я помню только несколько финальных строк: «Ты, Санта-Марта, будь гостеприимной и дай ему в своем приюте хотя бы этот кусочек пляжа, чтобы умереть». С тех пор и много лет у меня оставалась мысль, что Боливара нашли мертвым на пляже. Дедушка меня просветил и просил меня никогда не забывать, что он был самым великим человеком, когда-либо рождавшимся в мировой истории. Запутанный различием между одной его фразой и другой, которую бабушка произносила с такой же высокопарностью, я спросил дедушку, был ли Боливар более великим, чем Иисус Христос. Он мне ответил, качая головой, без прежней убежденности:

– Один не имеет ничего общего с другим.

Теперь я знаю, о чем думала моя бабушка, когда подталкивала своего мужа брать меня на свои вечерние прогулки, она была уверена, что это только предлог для визита к его реальным или предполагаемым любовницам. Возможно, в какие-то разы я ему служил алиби, но правда и в том, что никогда со мной он не шел ни в какое место, которое не соответствовало бы намеченному заранее маршруту. Тем не менее у меня остался отчетливый образ одного вечера, когда я прошел за руку с кем-то перед неизвестным мне домом и увидел дедушку, сидящего, будто он хозяин и господин в зале. Никогда я не мог понять, почему меня пробила пронзительная догадка, что я не должен никому об этом рассказывать. До сегодняшнего дня.

И это был тот дедушка, кто впервые меня познакомил с письменным словом в пять лет, однажды вечером, когда он меня привел познакомиться с цирковыми животными, которые были проездом в Катаке, под шатром, большим как церковь. Больше всего привлекло мое внимание одно животное наподобие лошади, разломанное и удрученное, с ужасным выражением морды.

– Это верблюд, – сказал мне дедушка.

Кто-то, кто был рядом, возразил ему:

– Извините, полковник, это дромадер.

Могу себе представить теперь, как должен был чувствовать себя дедушка, потому что кто-то поправил его в присутствии внука. Без раздумий он преодолел недоразумение достойным вопросом:

– Какая разница?

– Я не знаю, – ответили ему, – но это дромадер.

Дедушка не был человеком образованным и не претендовал на это, потому что убежал из публичной школы в Риоаче, чтобы отправиться палить из всевозможного оружия на одной из бесчисленных карибских гражданских войн. Он не вернулся к учебе, но всю жизнь осознавал свои пробелы и имел жажду к непосредственным знаниям, которая почти восполняла избыток его недостатков. Тем вечером из цирка он вернулся удрученным в мастерскую и открыл словарь с детским вниманием. Тогда он сам узнал и открыл мне уже навсегда разницу между дромадером и верблюдом. В итоге он положил знаменитый словарь мне на колени и сказал:

– Эта книга не только все знает, но единственная, которая никогда не ошибается.

Это был иллюстрированный талмуд с огромным Атлантом на корешке, на чьих плечах покоился мировой свод. Я не умел ни читать, ни писать, но мог себе представить, насколько был прав полковник, если в ней было почти две тысячи больших страниц, разноцветных и с превосходными рисунками. В церкви меня поразила размер требника, но словарь был толще. Было так, как будто я впервые заглянул в целый мир.

– Сколько слов в нем? – спросил я.

– Все, – сказал дедушка.

По правде, я не нуждался тогда в письменном слове, потому что мне удавалось выражать рисунками все, что меня поражало в жизни. В четыре года я нарисовал фокусника, который отрезал голову своей жене, а потом приставил ее обратно, как сделал Ричардине в салоне «Олимпия». Графическая серия начиналась с обезглавливания ножовкой, продолжалась победной демонстрацией окровавленной головы и завершалась изображением женщины с головой, как прежде, на своем месте, которая благодарила публику за аплодисменты. Рисованные истории были уже придуманы человечеством, но я узнал о них позже из цветных приложений к воскресным газетам. Тогда я начал придумывать рисованные сказки без диалогов. Тем не менее когда дедушка подарил мне словарь, во мне проснулось такое любопытство к словам, что я читал его как роман, в алфавитном порядке и едва понимая. Таким был мой первый контакт с тем, что должно будет стать основной книгой в моей судьбе писателя.

Детям рассказывается первая сказка, которая привлекает их внимание, и стоит большого труда, чтобы они захотели слушать следующую сказку. Но, полагаю, не в случае детей-рассказчиков, то есть не в моем случае. Я всегда хотел еще. Ненасытность, с которой я слушал сказки, оставляла меня всегда в ожидании лучшей на следующий день, особенно тех, что были похожи на мистерии из священной истории.

Все, что со мной происходило на улице, имело большой резонанс в доме. Женщины с кухни рассказывали об этом приезжим, прибывавшим на поезде, которые, в свою очередь, привозили другие истории, чтобы рассказать, и все вместе включалось в поток устной традиции. Некоторые факты впервые узнавались через песни аккордеонистов на ярмарках, путешественники перепевали их и обогащали. Однако самый впечатляющий случай моего детства вышел мне навстречу однажды очень рано в воскресенье, когда мы шли на мессу, в одной сбивчивой фразе бабушки:

– Бедный Николасита пропустит службу на Троицу.

Я обрадовался, потому что воскресные мессы были слишком длинными для моего возраста и проповеди падре Ангариты, которого я так любил ребенком, меня усыпляли. Но это была напрасная надежда, так как дедушка привел меня почти волоком в мастерскую Белги, в моем костюме из зеленого вельвета, в том, что жал мне в бедрах и в который меня одевали для мессы. Полицейские из охраны узнали дедушку издали и открыли дверь с ритуальным приветствием:

– Проходите, полковник.

Только тогда я узнал, что Белга надыхался раствором цианида золота – который разделил со своим псом, – после того как посмотрел «На Западном фронте без перемен», фильм Льюиса Майлстоуна по роману Эриха Марии Ремарка. Народная интуиция, которая всегда обнаружи-

вает правду даже там, где это невозможно, поняла и провозгласила, что Белга не вынес потрясения, узнав себя барахтающимся со своим четвертованным патрулем в болотах Нормандии.

Маленькая гостиная была в полумраке из-за закрытых окон, но утренний свет из патио освещал спальню, в которой алькальд с другими полицейскими ожидали дедушку. Там находился труп, накрытый одеялом на походной кровати, и костыли на расстоянии вытянутой руки, где хозяин оставил их перед тем, как лечь умирать. Рядом с ним на деревянной скамье стояла емкость, где испарялся цианид, и бумага с большими буквами, выведенными кистью: «В моей смерти прошу никого не винить, я умираю по глупости». Юридические хлопоты по подробностям похорон, быстро урегулированные дедушкой, не заняли больше десяти минут. Для меня, однако, это были самые сильные впечатления, которые остались на всю жизнь.

Первое, что меня потрясло, когда я вошел, – это запах в спальне. Только много лет спустя я узнал, что это был запах горького миндаля от цианида, который Белга вдохнул, чтобы умереть. Но ничто из тех впечатлений не преследует меня всю жизнь больше, чем вид трупа, когда алькальд откинул одеяло, чтобы показать его дедушке. Он был голый, твердый и скрученный, с шершавой кожей, покрытой желтыми волосами, а глаза, как безмятежные воды, глядели на нас, будто живые. От этого страха видеть зрячего после смерти я содрогался в течение многих лет каждый раз, когда проходил рядом с могилами без крестов, самоубийц, похороненных за пределами кладбища по распоряжению церкви. В моей памяти вместе с потусторонним взглядом мертвеца осталось ощущение тоскливых вечеров в его доме. Наверное, поэтому я сказал дедушке, когда мы покинули дом:

– Белга больше не будет играть в шахматы.

Это было простое замечание, но мой дедушка рассказал о нем в семье как о гениальном. Женщины обнародовали его с таким энтузиазмом, что в течение какого-то времени я избегал гостей, потому что снова и снова пришлось бы повторять мое высказывание по просьбам взрослых. Это открыло мне, помимо всего, одно свойство взрослых, которое очень пригодились мне как писателю: каждый рассказывал эту историю с новыми деталями, добавленными, по их разумению, до такой степени, что разные версии в итоге стали изрядно отличаться от реальности. Никто не представлял себе сочувствия, которое я испытывал с тех пор к бедным детям, провозглашенным гениальными своими родителями, которые заставляли их петь для гостей, изображать голос попугая и даже врать для развлечения гостей. Сейчас я понимаю тем не менее, что простая фраза эта была моим первым литературным успехом.

Такой была наша жизнь в 1932 году, когда стало известно, что армия генерала Луиса Мигеля Санчеса Серро военного режима Перу заняла селение Летисия на берегу реки Амазонки, на крайнем юге Колумбии. Известие прогремело по всей стране. Правительство издало указ о национальной мобилизации и общественном налоге, чтобы конфисковать из каждого дома фамильные сокровища наибольшей ценности. Обострившийся из-за коварной атаки перуанских войск патриотизм спровоцировал беспрецедентный народный ответ. Сборщики налогов не справлялись со сбором добровольной дани, переходя из дома в дом, особенно свадебных колец, так ценимых не только за их реальную стоимость, но главным образом как символ таинства брака.

Для меня зато это была пора наиболее счастливая в ее беспорядке. Прервалась стерильная строгость школы, и ей на смену пришло на улицы и в дома народное творчество. Был сформирован гражданский батальон из наиболее выдающейся молодежи без различия цвета кожи и национальностей, созданы женские бригады Красного Креста, импровизировались гимны войны не на жизнь, а на смерть против злого агрессора, и по всей стране прогремел единодушный клич: «Да здравствует Колумбия! Долой Перу!»

Я так никогда и не узнал, чем закончилось то героическое время, потому что по происшествии определенного времени движение успокоилось без официальных объяснений. Мир установился со смертью генерала Санчеса Серро. Власть сосредоточилась в руках одного про-

тивника его кровавого режима, и призыв к войне превратился в рутину разве что на праздновании школьных футбольных побед. Но мои родители, которые пожертвовали войне свои обручальные кольца, никогда не забыли своей тогдашней неразумной доверчивости.

Насколько я помню, моя склонность к музыке открылась в те годы через очарование, которое вызывали у меня аккордеонисты с их песнями странников. Многие песни я знал наизусть, как те, которые женщины с кухни пели тайком от бабушки, считавшей их песнями черни. Тем не менее необходимость петь, чтобы чувствовать себя живым, мне внушили танго Карлоса Гарделя, которым болела половина мира. Я одевался так же, как он в фетровую шляпу и шелковое кашне и не нуждался в особых уговорах, чтобы запеть танго во все горло. До одного недоброго утра, когда тетя Мама разбудила меня с известием о том, что Гардель погиб при столкновении двух самолетов в Медельине. Месяцы спустя я пел «Под уклон» на благотворительном вечере, под аккомпанемент сестер Ечеверри, коренных боготинок, которые были мастерами из мастеров и душой каждого благотворительного вечера и патриотических торжеств, прославленных в Катаке. Я пел настолько не похоже ни на кого, что мать не осмелилась возражать мне, когда я ей сказал, что хочу учиться фортепьяно вместо аккордеона, не признаваемого бабушкой.

Тем же вечером я привел сеньорит Ечеверри, чтобы они меня обучали. Пока они разговаривали, я смотрел на рояль с другого конца гостиной с преданностью собаки без хозяйина, прикидывая, достанут ли мои ноги до педалей, и сомневаясь, что мой большой палец и мизинец дотянутся на целую октаву, что я буду способен расшифровать иероглифы нотного стана. Это был визит прекрасных надежд, длившийся два часа. Но бесполезный, потому что преподавательницы сказали нам в итоге, что фортепьяно расстроено, и неизвестно, до какой поры. Идею отложили до тех пор, пока не вернется настройщик, приезжавший раз в год. Но к сожалению, к этой идее так больше никто и не вернулся, до того мгновения, спустя полжизни, когда я напомнил маме в случайной шутке о своих переживаниях по поводу того, что я не стал учиться играть на рояле. Она вздохнула.

– Хуже всего, – сказала она, – что он не был испорчен.

Тогда я узнал, что она договорилась с преподавательницами о предлоге, дабы уберечь меня от пытки, которой она подвергалась в течение пяти лет от оболванивающих этюдов в колледже Пресентасьон. Утешением стало то, что в эти годы в Катаке открылась школа Монтессори, где учителя старались активизировать пять чувств у своих учеников практическими упражнениями и учили петь. Благодаря таланту и красоте директрисы Росы Элены Фергюссон учиться было так чудесно, будто играть в то, чтобы быть живым. Я научился ценить власть обоняния, особенно влияющую на поток воспоминаний, и вкус, который я отточил до такой степени, что пробовал напитки, которые имели вкус лесной поляны, старый хлеб со вкусом чемодана, отвары, пахнущие мессой. В теории трудно понять эти субъективные удовольствия, но те, кто их способен ощутить, поймут их мгновенно.

Не думаю, что есть метод лучше, чем метод Монтессори, чтобы развить чувствительность детей к красоте мира и чтобы разбудить любопытство к тайнам жизни. Ее упрекают в том, что она формировала чувство независимости и индивидуальности, и, пожалуй, в моем случае это верно. Зато я никогда не научился ни делить или извлекать квадратный корень, ни жонглировать абстрактными идеями. Мы были такими юными, что я запомнил лишь двух одноклассников. Первая была Хуанита Мендоса, которая умерла от тифа через семь лет, вскоре после выпуска из школы, и меня это так поразило, что я никогда не смогу ее забыть в венце и фате невесты в гробу. Другой был Гильермо Валенсия Абдала, мой друг с первой перемены. Позже – верный врач похмелей по понедельникам.

Моя сестра Марго, должно быть, была очень несчастна в той школе, хотя она ни разу не проговорилась. Она садилась за свою парту начальной школы и сидела там молча даже во время перемен, уставившись в одну точку до тех пор, пока не звонил звонок окончания занятий.

Я не знал в то время, что она оставалась одна в пустом зале, чтобы жевать садовую землю, принесенную тайком в кармане передника из дома.

Научиться читать мне стоило немалого труда. Казалось нелогичным, что буква «м» называлась «эм», несмотря на то что со следующей гласной произносилось не «эма», а «ма». Для меня невозможно было так читать. Наконец, когда я пришел в Монтессори, учительница не учила меня именам, а только согласным звукам. Так я смог прочесть первую книгу, которую нашел в пыльном сундуке в кладовке дома. Она была растрепанная и неполная, но я ее впитывал так напряженно, что жених Сары дал ход пугающему предчувствию:

– Черт возьми! Этот ребенок будет писателем!

Сказанное тем, кто жил писательством, произвело на меня большое впечатление. Прошло несколько лет, прежде чем стало известно, что это была книга «Тысяча и одна ночь». Сказка, которая мне больше всего понравилась, одна из самых коротких и самых чувствительных, которые я читал, сказка эта продолжала казаться мне лучшей всю жизнь, хотя теперь я не уверен, что именно там ее прочитал, и уже никто не сможет мне помочь прояснить это. Сказка такая: один рыбак пообещал подарить соседке первую рыбу, которую он поймает, если она ему даст кусок свинца для его сети, и когда женщина разрешила рыбу, чтобы пожарить ее, то увидела внутри ее бриллиант размером с миндальный орех...

Я всегда связывал войну с Перу с упадком Катаки, потому что однажды провозглашенный мир вызвал то явление, которое ввергло моего отца в неуверенность, он как бы заблудился в лабиринте общего упадка. И семья наша вынуждена была переехать в его родное селение Синее. Для нас с Луисом Энрике, когда мы сопровождали его в поездке на разведку, это было в действительности новой школой жизни, с культурой, настолько отличной от нашей, что, казалось, мы переезжаем на другую планету. На следующий день после приезда нас отвели на соседние плантации, где мы учились ездить верхом на осле, пасти коров, кастрировать бычков, ставить капканы на перепелов, ловить рыбу на крючок и узнали, почему псы остаются скелетными со своими сучками. Луис Энрике всегда намного опережал меня в открытии мира, который Мина держала от нас под запретом, а бабушка Агремира говорила с нами в Синее без лукавства. Столько дядей и тетей, столько двоюродных братьев и сестер разных цветов кожи, столько родственников со странными фамилиями, разговаривающих на наречиях столь различных, сначала сообщали нам больше путаницы, чем необходимых сведений. Папа папы, дон Габриэль Мартинес, легендарный школьный учитель, принял нас с Луисом Энрике в патио с огромными деревьями манго, самыми известными в селении благодаря своему вкусу и размеру. Он их пересчитывал один за другим каждый день годового сбора урожая, начиная с первого дня, и срывал их один за другим собственной рукой для продажи по баснословной цене, по целому сентаво за каждый. Прощаясь с нами, после дружеской шутки насчет своей хорошей памяти учителя он сорвал одно манго с самого густолиственного дерева и протянул нам одно на двоих.

Папа «подал» нам эту поездку как важный шаг в объединении нашей семьи, но, начиная с приезда, мы поняли, что его тайным намерением было основать аптеку на главной площади. Мы с братом были зачислены в школу маэстро Луиса Габриэля Месы, где мы чувствовали себя более свободными и быстро влившимися в новую общность. На лучшем перекрестке селения мы арендовали огромный дом с двумя этажами и балконом, выходящим на площадь; в разоренных спальнях дома всю ночь пел невидимый призрак выпив.

Все было готово для счастливого десанта матери, братьев и сестер, когда пришла телеграмма с известием, что дедушка Николас Маркес умер. Его застала врасплох болезнь горла, которая диагностировалась как рак в последней стадии, его едва успели привезти в Санта-Марту, где он и умер. Единственным из нас, кто видел агонию дедушки, был брат Густаво, шести месяцев от рождения, которого поднесли к кровати дедушки, чтобы тот попрощался с ним. Умиравший дедушка наградил его прощальной лаской.

Мне потребовалось много лет, чтобы понять, что означала для меня та необъяснимая смерть.

Переезд в Синее произошел всеми способами, не только с детьми, но с бабушкой Миной, с тетей Мамои, уже больной, и обеими, с добрым грузом, тетями Па. Но радость от новизны и крах проекта произошли почти одновременно, и меньше чем через год мы все вернулись в старый дом в Катаке, «съев свою шляпу», как говаривала моя мать в непоправимых ситуациях. Папа остался в Барранкилье пробовать все способы учредить свою четвертую аптеку.

Моим последним воспоминанием о доме в Катаке тех дней был костер в патио, в котором мы сжигали одежду дедушки. Его военные рубашки и его белый льняной костюм гражданского полковника, которые так были похожи на него, будто он продолжал жить в них в то время, как они горели. Особенно множество вельветовых кепок разных цветов, которые были опознавательным знаком, по которому его отлично узнавали издали. Среди них я увидел свою, в шотландскую клетку, сожженную по невнимательности, и меня потрясло чувство, что та церемония уничтожения пожаловала мне, несомненно, главную роль в смерти дедушки. Теперь я вижу ясно, что часть меня умерла вместе с ним. Но также мне думается, что, без всякого сомнения, в тот момент я уже был писателем начальной школы, которому не доставало совсем малого – научиться писать.

Это было состояние души, укрепившее меня в том, что жизнь продолжается, когда мы с матерью вышли из дома, который не смогли продать. Так как обратный поезд мог пойти в любое время, мы пошли на станцию, не здороваясь больше ни с кем.

– В другой раз приедем на долыпке, – произнесла она единственный эвфемизм, пришедший на ум, чтобы сказать, что она сюда не вернется никогда. Со своей стороны, я понял тогда, что всю оставшуюся жизнь я не перестану скучать по грому в три часа дня.

Мы были единственными призраками на станции, кроме сотрудника в комбинезоне, продававшего билеты и выполнявшего сверх того столько дел, что в наше время для этого требуется двадцать или тридцать изображающих занятость людей. Была адская жара. По другую сторону железнодорожных путей сохранились лишь остатки запретного города банановой компании. Старые городские особняки без привычных красных черепичных крыш, засохшие пальмы среди сорняков и обломков здания госпиталя, в конце сквера – заброшенный дом Монтессори, окруженный умирающими миндальными деревьями, известковая площадка перед станцией без малейшего следа исторического величия.

Любой предмет при одном только взгляде на него порождал во мне желание писать, чтобы не умереть. Я испытывал похожее в другие разы, но в то утро я познал это как транс вдохновения – отвратительное слово, но такое реальное, которое сметает все, что встречает на своем пути, чтобы со временем обратиться в пепел.

Я не помню, ни о чем мы еще говорили, ни даже обратного поезда. Уже в лодке, на рассвете в понедельник, на свежем ветре спящих болот мать поняла, что я тоже сплю наяву, и спросила меня:

– О чем ты думаешь?

– Я пишу, – ответил я ей. И поспешил быть более любезным: – Лучше сказать, я думаю о том, что напишу, когда приеду в контору.

– Ты не боишься, что твой папа умрет от печали?

Я увернулся ловким приемом тореро:

– У него столько поводов, чтобы умереть, что этот будет наименее смертельным.

Это не было время наиболее милостивое, чтобы рискнуть связаться во второй роман, после того как я засел за первый и опробовал, к счастью или нет, новые формы повествования, но я сам навязал себе военное соглашение: писать или умереть.

Из такси, которое нас везло к лодочной пристани, мой старый город Барранкилья показался чужим и грустным в раннем свете того спасительного февраля. Капитан шлюпки Эллине



Мерседес позвал меня, чтобы я проводил мать до селения Сукре, где семья жила уже десять лет. Я даже не подумал об этом. Я поцеловал ее на прощание, и она посмотрела мне в глаза, улыбнулась первый раз с прошлого вечера и спросила меня со своей всегдашней хитрецей:

– Так что сказать твоему папе?

Я ей ответил от всей души:

– Скажи ему, что я его очень люблю и что благодаря ему я буду писателем! – И поспешил добавить без сожаления о какой-либо альтернативе: – Никем, кроме писателя.

Мне нравилось говорить это иной раз в шутку, другой раз всерьез, но никогда с такой убежденностью, как в тот день. Я оставался на причале, отвечая на вялые жесты прощания, которые делала мне мать с борта, пока шлюпка не затерялась среди кораблей. Тогда я бросился в редакцию «Эль Эральдо», возбужденный тревогой, которая грызла мне внутренности, и, едва переведя дух, начал новый роман с фразы матери: «Я пришла просить тебя об услуге, ты не мог бы съездить со мной, чтобы продать дом?»

Мой тогдашний метод существенно отличался от нынешнего, сформировавшегося уже в зрелые годы профессионального писательства. Я печатал только указательными пальцами, как продолжаю делать сейчас, но я не прерывался до тех пор, пока не устану, сейчас я так не делаю; я записывал все, что вынимал из своего сознания, без обработки. Думаю, что эта система была установлена из-за размеров листов бумаги, которая имела вертикальные границы, обрезанные печатными бобинами, которые могли иметь все пять метров в длину. В результате получались оригинальные тексты, длинные и узкие, как папирусы, которые выходили каскадом из печатной машинки, стелились по полу, пока я продолжал писать. Шеф редакции не поручал репортажи ни по четвертушкам бумаги, ни по буквам, ни по словам, но по сантиметрам бумаги. «Репортаж в полтора метра», – говорил он. Я начал скучать по этому формату в зрелости, когда обнаружил, что на практике это было то же самое, что монитор компьютера.

Порыв, с которым я начал новый роман, был так неудержим, что я потерял чувство времени. К десяти утра я написал больше одного метра, когда Альфонсо Фуэнмайор открыл ударом главную дверь и замер, подобно камню с ключом в замке, стоя с выражением, будто он перепутал нашу комнату с ванной. Пока меня не узнал.

– Это вы! Какого черта вы здесь делаете в этот час? – спросил он меня удивленно.

– Пишу роман о моей жизни, – сказал я ему.

– Еще один? – сказал он с безбожным юмором. – Тогда у вас больше жизней, чем у кошки.

– Это тот же самый, но в другой манере, – ответил я, чтобы не давать ненужных объяснений.

Мы не были на ты из-за странного колумбийского обычая тыкать друг другу с первого приветствия и переходить на вы, только когда достигнуто наибольшее доверие, как между супругами.

Он вытащил книги и бумаги из сломанного чемоданчика и положил их на письменный стол, слушая при этом с ненасытным любопытством мой рассказ о путешествии и пытаясь ощутить то эмоциональное волнение, которое я старался передать. В конце, обобщая весь рассказ, я не смог избежать несчастья произнести необратимую фразу, которую я не способен объяснить.

– Это самое великое, что происходило со мной в жизни, – сказал я ему.

– Хорошо, что не последнее, – сказал Альфонсо.

Но он так не думал, потому что сам, как и я, не знал никакой рациональной меры в любых идеях. Тем не менее он спокойно выслушал меня, дав мне понять, что, возможно, мои эмоции от путешествия его не потрясли так, как я ожидал, но, без сомнения, заинтриговали. Со следующего же дня он начал задавать всякого рода вопросы, случайные, но блестящие, о ходе моего романа, и достаточно было одного его жеста, чтобы я задумался, что что-то надо исправить.

Пока мы разговаривали, он собрал мои бумаги, чтобы освободить стол, потому что Альфонсо должен был написать этим утром первую редакционную заметку «Хроники». Но в этот день пришло радостное для меня известие, что первый номер, подготовленный для следующей недели, откладывался в пятнадцатый раз по причине задержки в поставке бумаги. Если пове-  
зет, сказал Альфонсо, мы выйдем через три недели.

Я подумал, что такого спасительного срока мне достанет, чтобы закончить начало книги, так как я еще был слишком зеленый, чтобы осознать, что романы начинаются не так, как кому-то вздумается, а по своей воле. Так, шесть месяцев спустя, когда я считал, что я на финишной прямой, понадобилось глубоко переделать первые десять страниц, чтобы читатель в них поверил, но до сих пор они не кажутся мне совершенными. Этот срок должен был быть также облегчением для Альфонсо, потому что вместо того, чтобы жалеть об этом, он скинул жакет и сел за стол, чтобы править последнее издание словаря Королевской Академии, которое при-  
шло нам в эти дни. Это было его любимое занятие с тех пор, как он нашел случайную ошибку в английском словаре и отправил задокументированное исправление его издателям в Лондоне, без иного вознаграждения, кроме хлесткости стиля отправленного письма: «В конце концов, Англия должна быть признательна нам, колумбийцам». Издатели ответили ему очень любез-  
ным письмом, в котором признавали свою ошибку и просили его о сотрудничестве с ними. Так и было в течение нескольких лет, и не только с другими опечатками в том же словаре, но и в других на разных языках. К тому времени, когда связь с издателями прервалась, он приобрел уже порок буквоеда и отшельника. Он исправлял словари на испанском, английском или французском, и у него было чем заняться в приемной или в ожидании автобуса, или в любой из жизненных очередей; он убивал время, охотясь на ляпсусы в чашобах языков.

Жара стала непереносимой к двенадцати. Сигаретный дым затуманил слабый свет из двух окон, но никто не взял на себя труда проветрить офис, возможно, от желания накуриться уже отработанным дымом до смерти. С жарой было по-другому. У меня была врожденная счастливая особенность не замечать ее до тридцати градусов в тени. Альфонсо, напротив, принялся снимать с себя одежду вещь за вещью, по мере того как усиливался зной, не прерываясь, снимая галстук, рубашку, майку. Получалось у него другое преимущество: его одежда оставалась сухой, в то время как он выпаривался в поту и мог надеть ее опять, когда садилось солнце, такой же выглаженной и свежей, как за завтраком. Это, должно быть, было тем секретом, кото-  
рый позволял ему появляться всегда где угодно в своем белом льняном костюме, в завязанных узлом галстуках и твердой индейской шляпе, делящей центр черепа математической линией. Так было и в другой раз, одним вечером, когда он вышел из ванной, как будто только что встал после восстановительного сна. Проходя мимо меня, он спросил:

– Пообедаем?

– Я не голоден, маэстро, – ответил я.

Реплика была непосредственно на нашем племенном шифре, обозначавшим, что если я говорю «да», то потому что нахожусь в крайней нужде, возможно, два дня сижу на хлебе и воде, и в этом случае я шел с ним без комментариев, и было ясно, что он приглашает меня. Ответ, что я не голоден, мог означать что угодно, но это был мой способ сказать ему, что у меня нет проблем с обедом. И мы увидимся, как всегда, вечером в книжной лавке «Мундо».

Чуть после полудня пришел молодой человек, похожий на киноактера. Ярко-рыжий, с кожей, потрескавшейся от ветра, глазами загадочного голубого цвета и теплым гармоничным голосом. Пока мы разговаривали о ближайшем выходе журнала, он начертил на крышке стола профиль храброго быка шестью основными линиями и подписал его вместе с посланием для Фуэнмайора. Потом бросил карандаш на стол и распрощался, хлопнув дверью. Я был так поглощен писанием, что даже не взглянул на имя под рисунком. Так я писал остаток дня без еды и питья, а когда погас вечерний свет, мне пришлось выходить на ощупь с первыми набросками

нового романа, в счастливой уверенности, что я нашел наконец путь, отличный от всего, что я писал без надежд уже больше года.

Только этой ночью я узнал, что дневным посетителем был художник Алехандро Обрегон, недавно приехавший из одного из своих многочисленных путешествий по Европе.

С тех пор он стал не только одним из великих художников Колумбии, но человеком, наиболее любимым своими друзьями; он ускорил свое возвращение, чтобы участвовать в выпуске «Хроники». Я встретил его с близкими друзьями в одном безымянном кабаке в переулке Люс, в центре Баррио Абахо, который Альфонсо Фуэнмайор окрестил титулом из последней книги Грэма Грина: «Третий человек». Его возвращения всегда были знаменательными, и той ночью встреча завершилась спектаклем, сотворенным прирученным сверчком, который подчинялся, как человеческое существо, приказам своего хозяина. Он становился на две лапки, вытягивал крылья, пел ритмичными свистками и благодарил за аплодисменты театральными реверансами. В конце, перед укротителем, опьяненным залпом аплодисментов, Обрегон схватил сверчка за крылья кончиками пальцев и под всеобщее изумление положил его в рот и начал его живьем жевать с чувственным удовольствием. Было непросто уладить дело с безутешным укротителем всякого рода увещеваниями и подношениями; позже я узнал, что это был не первый сверчок, которого Обрегон съел живьем на публичном спектакле, не был он и последним.

Никогда, как в те дни, я не чувствовал себя неким посланником в тот город и круг двенадцати друзей, которые начинали быть известными среди журналистов и интеллектуалов страны как группа из Барранкильи. Они были писателями и молодыми артистами, которые осуществляли некоторое лидерство в культурной жизни города, направляемые рукой каталанского маэстро Рамона Виньеса, драматурга и легендарного книготорговца, занесенного в энциклопедию Эспаса в 1924 году.

Я познакомился с ними в сентябре предыдущего года, когда приехал из Картахены, где жил тогда, по настоятельной рекомендации Клементе Мануэля Сабалы, шефа редакции ежедневника «Эль Универсаль», в который я писал мои первые редакционные заметки. Мы провели ночь, разговаривая обо всем на свете, и установили общение такое вдохновляющее и постоянное по обмену книгами и литературными взглядами, что я в итоге стал работать с ними. Трое из оригинальной группы отличались своей независимостью и силой призвания: Херман Варгас, Альфонсо Фуэнмайор и Альваро Сепеда Самудио. Мы имели столько общего, что нас называли сыновьями одного отца, но мы были заметны, и нас мало кто любил в определенных кругах за независимость, неукротимое призвание, творческую отвагу, которая локтями пробивала себе дорогу, и робость, с которой каждый боролся на свой манер, и редко удачно.

Двадцативосьмилетний Альфонсо Фуэнмайор был блестящим писателем и журналистом, который долгое время вел в «Эль Эральдо» колонку новостей, «Ветер дня», под шекспировским псевдонимом Пак. Насколько хорошо мы знали его вольность и чувство юмора, настолько меньше понимали, каким образом он прочитал столько книг на четырех языках по стольким темам, что невозможно было себе это представить. Последним его жизненным опытом, в его почти пятьдесят лет, был огромный и разбитый автомобиль, который он водил со всем риском на скорости двадцать километров в час. Таксисты, его большие друзья и самые сведущие читатели, узнавали его на расстоянии и сворачивали в сторону, чтобы освободить ему дорогу.

Херман Варгас Кантильо был колумнистом в вечернем выпуске «Эль Насьональ», метким и едким литературным критиком, с прозой настолько лихой, что она могла убедить читателя, что предметы существуют только потому, что он о них рассказывает. Он был одним из самых просвещенных дикторов на радио в те добрые времена новых профессий. Я бы сам хотел быть таким, как он, образцом прирожденного репортера. Белокурый, с крепкой костью и глазами грозного голубого цвета, и всегда было невозможно понять, где он находил минуту, чтобы прочитать все, что он считал необходимым прочитать. Он не отступал ни на мгновение от своей ранней одержимости открывать спрятанные литературные ценности в отдаленных угол-

ках забытой Провинции, чтобы предъявить их на свет общественного внимания. Было удачей, что он никогда не учил вести себя в братстве рассеянных людей, но у нас был страх, что он не устоит перед соблазном читать, поучая.

Альваро Сепеда Самуидо был очарованным водителем не только автомобилей, но и букв. Рассказчиком он был из лучших, когда, конечно, находил в себе силу воли, чтобы усесться и записать свои рассказы, нашим главным кинокритиком и, без сомнения, самым просвещенным вдохновителем дерзких споров. Он походил на цыгана из Съенага Гранде, с загорелой кожей и красивой головой с черными кудрями и шальными глазами сумасшедшего, которые не скрывали его простого сердца. Его любимой обувью были тряпочные сандалии самых бедных, а между зубов он сжимал огромную сигару, почти всегда потушенную. Он написал в «Эль Насьональ» свои первые журналистские тексты и опубликовал первые рассказы. В тот год он заканчивал в Нью-Йорке высший курс журналистики в Университете Колумбии.

Блуждающим членом группы и самым выдающимся наряду с доном Рамоном был Хосе Феликс Фуэнмайор, папа Альфонсо. Легендарный журналист и рассказчик из великих, он опубликовал книгу стихов, «Стихи тропиков», в 1920 году и два романа: «Косме» в 1927 году и «Грустное приключение четырнадцати мудрецов» в 1928-м. Ни одна не пользовалась успехом в книжных магазинах, но умная критика всегда считала Хосе Феликса одним из лучших рассказчиков, задавленным фрондами Провинции.

Я никогда не слышал о нем до тех пор, пока не познакомился с ним однажды в полдень, когда мы оказались одновременно одни в «Джэпи», и сразу же он ослепил меня мудростью и искренностью беседы. Он был ветераном и тюремным узником Тысячедневной войны. У него не было образования, как у Виньеса, но он был наиболее близок мне по своему образу жизни и своей карибской культуре. Больше всего мне нравилась в нем удивительная способность передавать свою мудрость, как будто это простейшее занятие, наподобие пения во время шитья. Он был непобедимый консерватор и учитель жизни, его образ мыслить был отличен ото всех, кого я знал до тех пор. Альваро Сепеда и я целыми часами слушали его, вникая в его главный принцип, что глубинные различия между литературой и жизнью были простыми ошибками формы. Позже, не помню где, Альваро записал точную мысль: «Все мы вышли из Хосе Феликса».

Группа сформировалась спонтанно, почти силой притяжения, действием родства нерушимого, но сложного для понимания с первого взгляда. Много раз нас спрашивали, как, будучи такими разными, мы почти всегда согласны друг с другом, и нам приходилось придумывать на лету какой-нибудь ответ, чтобы не говорить правды, ибо отнюдь не всегда мы были согласны, но мы понимали доводы друг друга. Мы осознавали, насколько вне нашего круга мы имели образ нарциссов, анархистов и выскочек. Особенно из-за наших политических толкований. Альфонсо виделся как ортодоксальный либерал, Херман как вольнодумец поневоле, Альваро как своевольный анархист, а я как недоверчивый коммунист и потенциальный самоубийца. Тем не менее я полагаю без малейшего сомнения, что нашей главной удачей было, что даже в самой крайней нужде мы могли потерять терпение, но никогда чувство юмора.

Наши немногие серьезные расхождения мы обсуждали только между собой и иногда достигали опасного градуса, но, несмотря на это, забывали о споре, как только вставали из-за стола или если приходил какой-нибудь неблизкий друг. Самый незабываемый урок я выучил навсегда в баре «Лос Альмендрос», вечером, когда только что прибывших Альваро и меня запутали в споре о Фолкнере. Нашими единственными свидетелями за столом были Херман и Альфонсо, которые оставались в стороне и хранили каменное молчание, которое становилось невыносимым. Я не помню, в какой момент, разгоряченный яростью и крепкой водкой, я вызвал Альваро, чтобы мы разрешили спор кулаками. Оба мы были готовы в порыве встать из-за стола и выйти на улицу, когда успокаивающий голос Хермана Варгаса нас неожиданно остановил, преподав нам урок на всю жизнь:

– Кто встанет первым, тот проиграл.

Никто еще не приблизился к своему тридцатилетию. Я, в свои полные двадцать три, был младшим из группы и был усыновлен ими, как только приехал, чтобы остаться, в прошлом декабре. Но за столом дона Рамона Виньеса мы, четверо, вели себя как вдохновители и защитники веры, всегда вместе, говорящие об одном и высмеивающие все и в такой согласии готовые возражать, что в итоге на нас стали смотреть, будто мы были одним.

Единственной женщиной, которую мы рассматривали как члена группы, была Мейра Делмар, которая приобщилась к увлечению поэзией, но мы делили с ней только редкие встречи, когда мы соскакивали с нашей орбиты вредных привычек. У нее дома проходили памятные вечеринки с известными писателями и артистами, которые были проездом в городе. Другой подругой, с которой мы общались не так часто, была художница Сесилия Поррас, которая иногда приезжала из Картахены и сопровождала нас в наших ночных блужданиях, потому что для нее было хуже горькой редьки, что женщин неохотно принимали в кафе для пьяниц и притонах порока.

Группой мы встречались дважды в день в книжной лавке «Мундо», которая в итоге превратилась в центр литературного объединения. Это была мирная заводь посреди грохота улицы Сан Блас, шумной и жаркой торговой артерии, куда устремлялся центр города в шесть часов вечера. Альфонсо и я писали до раннего вечера в нашем смежном кабинете в зале редакции «Эль Эральдо», как прилежные ученики, его рассудительные передовицы и мои взъерошенные заметки. Часто мы обменивались идеями от одной печатной машинки к другой, мы одалживали друг другу прилагательные, консультировались о датах отъезда и возвращения, до такой степени, что в некоторых случаях было сложно понять, какой абзац чей.

Наша ежедневная жизнь была почти всегда легко предсказуема, кроме вечеров пятницы, которые мы отдавали на милость вдохновения, и порой они заканчивались завтраком в понедельник. Если нас охватывал интерес, мы четверо затевали литературное паломничество без руля и без ветрил. Оно начиналось в «Третьем человеке» с ремесленниками квартала, механиками из автомобильных мастерских, с чиновниками в отставке и так далее, по нисходящей. Самым удивительным из всех был квартирный вор, который приходил незадолго до полуночи в профессиональной униформе, в балетных лосинах, теннисных туфлях, бейсболке и с легким чемоданчиком с инструментами. Кому-то, кто застал его врасплох, грабящего дом, удалось сфотографировать его и опубликовать фото в прессе для опознания. Единственное, чего он достиг, было несколько писем читателей, возмущенных грязной игрой с бедными ворами.

Вор имел ярко выраженное литературное призвание, не лез за словом в карман в беседах об искусстве и книгах, и мы знали, что он был застенчивый автор стихов о любви, которые он декламировал перед клиентурой кафе в наше отсутствие. После полуночи он шел воровать в верхние кварталы, как на работу, и три или четыре часа спустя приносил нам в качестве подарка какие-нибудь безделушки, выделенные из главной добычи. «Это вам для детей», – говорил нам он, даже не спрашивая, есть ли они у нас. Когда его внимание привлекала книга, он приносил нам ее в подарок, и если она стоила того, мы отдавали ее в библиотеку департамента, которой руководила Мейра Делмар.

Те бродячие аудитории, заслужили нам смутную репутацию среди добрых кумовьев, которых мы встречали выходящими с пятичасовой мессы и которые переходили на другую сторону улицы, чтобы не пересекаться с рассветными пьяницами. Но в действительности не было гулянок более порядочных и плодотворных. Если кто-то об этом и знал непосредственно, это был я, который подыгрывал им в их криках в борделях о творчестве Джона Дос Пассоса или пропущенных голах «Депортиво хуниор». Настолько, что одна из остроумных гетер «Эль Гато Негро», сытая по горло ночью бесплатных споров, крикнула нам, проходя мимо:

– Если бы вы трахались так же, как вопите, цены б вам не было!

Много раз мы шли встречать рассвет в бордель без названия в китайском квартале, где жил в течение долгих лет Орландо Ривера Фигурита, пока расписывал стену, которая вошла в

историю. Я не помню никого более нелепого, с его взглядом лунатика, с его козлиной бородой и доброжелательностью сироты. Еще в начальной школе его зацепила блажь стать кубинцем, и в итоге он превратился в него, и даже в большей степени, чем если бы был им на самом деле. Он разговаривал, ел, рисовал, одевался, влюблялся, танцевал и жил свою жизнь, как кубинец, и умер кубинцем, так и не узнав Кубы.

Он не спал. Когда мы приходили к нему на рассвете, он соскакивал с лесов, еще более размалеванный, чем стена, и богохульствуя на языке мамби в угаре марихуаны. Мы с Альфонсо приносили ему статьи и рассказы для иллюстрирования, и мы должны были их ему пересказывать вслух, потому что у него не хватало терпения прочитывать и понять их. Он делал мгновенные рисунки в технике карикатуры, единственной, в которую он верил. Почти всегда они выходили у него хорошо, хотя Херман Варгас говаривал, когда был в веселом настроении, что они гораздо лучше, когда выходят плохо.

Такой была Барранкилья, город, не похожий ни на какой другой, особенно с декабря по март, когда северные пассаты уравнивали адские дни с ночными бурями, которые крутились вихрем во дворах домов и поднимали кур на воздух. Оставались живыми лишь отели в оживленных местах да портовые кабаки вокруг причала. Некоторые «ночные бабочки» ночи напролет поджидали клиентов, всегда сомнительных, с речных судов. Духовой оркестр вяло наигрывал вальс на бульваре, но никто его не слушал из-за криков шоферов, которые обсуждали футбольные матчи среди пустых такси, выстроившихся батареей вдоль проспекта Боливар. Единственным возможным местонахождением было кафе «Рома», забегаловка испанских беженцев, которая не закрывалась никогда по той простой причине, что не имела дверей. Также она не имела крыши в городе традиционных ливней, но никогда я не слышал, чтобы кто-то отказал себе в тортилье из батата или от улаживания дел по причине дождя. Это была заводь под открытым небом, с круглыми столиками, выкрашенными в белый цвет, и железными стульчиками под кронами цветущих акаций. В одиннадцать, когда сдавались в печать утренние газеты, «Эль Эральдо» и «Ла Пренса», ночные редакторы собирались вместе, чтобы перекусить. Испанские беженцы были там с шести вечера, после прослушивания ежедневной речи профессора Хуана Хосе Переса Доменеча у себя дома, который продолжал выдавать сведения об испанской гражданской войне двенадцать лет спустя после того, как ее проиграли. Одной счастливой ночью писатель Эдуардо Саламеа бросил там якорь при возвращении из Ла Гуахиры и выстрелил из револьвера в грудь без серьезных последствий. Стол остался как историческая реликвия, которую официанты показывали туристам, не позволяя садиться за него. Годы спустя Саламеа опубликовал свидетельство своего приключения в «Четырех годах на борту меня самого» – романе, который открыл невероятные горизонты нашему поколению.

Я был самым горемычным из братства и часто укрывался в кафе «Рома», чтобы писать до рассвета где-нибудь в уголке, потому что две близкие профессии имели парадоксальную особенность быть важными и плохо оплачиваемыми. Там меня заставлял рассвет, читающего без жалости, и когда меня настигал голод, я выпивал чашку густого шоколада с сэндвичем из доброго испанского хамона и с первыми лучами зари выходил прогуляться под цветущими магнолиями проспекта Боливар. Первые недели я писал допоздна в редакции газеты и спал несколько часов прямо в пустой редакции или на рулонах печатной бумаги, но со временем я принужден был искать место менее оригинальное.

Это решение, как и столько же других в будущем, мне подсказали веселые таксисты с проспекта Боливар, – в проходной гостинице в одном квартале от собора, где можно было найти ночлег, одинокий или в сопровождении, за полтора песо. Здание было очень старым, но хорошо содержащимся за счет шлюх, бедных как церковные мыши, слоняющихся по проспекту Боливар с шести вечера, отслеживая заблудившиеся любви. Привратника звали Ласидес. У него был один стеклянный косой глаз, и он заикался от застенчивости, и я вспоминаю его с огромной признательностью с первой ночи, когда я въехал. Он положил песо и пятьдесят

сентаво на ящик стойки, уже набитый мелкими скомканными бумажными деньгами первой ночи, и дал мне ключ от комнаты под номером шесть.

Я никогда не бывал в столь спокойном месте. Были слышны только приглушенные шаги, неразборчивый шепот и мерный, тоскливый скрип ржавых пружин. Но ни шороха, ни вздоха, ничего. Единственной сложностью была жара, как из печи, из окна, закрытого деревянной перекладиной. Тем не менее с первой ночи я почти до рассвета прекрасно почитал Уильяма Айриша.

Это был особняк бывших судовладельцев, с алебастровыми колоннами и позолоченными фризами, вокруг внутреннего двора, покрытого языческим витражом, излучавшим свет зимней оранжереи. На нижнем этаже располагались городские нотариусы. На каждом из трех этажей оригинального дома находились шесть огромных покоев из мрамора, превращенных в небольшие спальни из картона, таких же как моя, где собирали свой урожай полуночницы района. Тот счастливый приют разврата получил как-то раз имя отель «Нью-Йорк», и Альфонсо Фуэнмайор назвал его позднее «Небоскреб» в память о самоубийцах, которые выбрасывались в те годы с плоской крыши Эмпайр-стейт-билдинг.

В любом случае осью, вокруг которой крутились наши жизни, была книжная лавка «Мундо», в двенадцать дня и в шесть вечера, в самом многолюдном квартале улицы Сан Блас. Херман Варгас, близкий друг владельца, дона Хорхе Рондона, убедил того устроить предприятие, которое через небольшое время превратилось в центр объединения журналистов, писателей и молодых политиков. Рондону не хватало опыта в делах, но он быстро обучился, с энтузиазмом и щедростью, которые превратили его в незабываемого мецената. Херман, Альваро и Альфонсо были его советниками в заказах книг, особенно новинок из Буэнос-Айреса, чьи издатели начали переводить, печатать и распространять в массе литературные новинки со всего мира после Второй мировой войны. Благодаря им мы могли читать в то время книги, которые другим образом не попали бы в город. Издатели воодушевились клиентурой и добились того, чтобы Барранкилья вновь стала одним из самых читающих городов, после очевидного перерыва, с тех пор как перестала существовать легендарная книжная лавка дона Рамона.

Прошло немного времени с моего приезда, когда я вступил в то братство, которое ждало как посланников небес странствующих продавцов аргентинских издательств. Благодаря им мы стали ранними обожателями Хорхе Луиса Борхеса, Хулио Кортасара, Фелисберто Эрнандеса, английских и североамериканских романистов, хорошо переведенных командой Виктории Окампо. «Как ковали одного мятежника» Артуро Бареа было первым вселяющим надежду посланием из далекой Испании, замолкшей после двух войн. Один из тех путешественников, пунктуальный Гильермо Давалос, имел хорошую привычку разделять с нами ночные гулянья и дарить нам образцы своих новинок после того, как закончит дела в городе.

Группа, которая жила далеко от центра, не ходила по вечерам в кафе «Рома» без конкретных поводов. Для меня же, напротив, оно почти превратилось в дом, которого я не имел. Я работал по утрам в тихой редакции «Эль Эральдо», обедал, как мог, когда мог и где мог, но почти всегда приглашенный кем-то из группы, хорошими друзьями и заинтересованными политиками. После полудня я писал «Жираф», мою ежедневную заметку, и какой-нибудь другой дежурный текст. В двенадцать дня и шесть вечера я был самым пунктуальным в книжной лавке «Мундо». Аперитив перед обедом, который группа выпивала в течение нескольких лет в кафе «Колумбия», переместился позже в кафе «Джэпи», на противоположной стороне улицы, потому что оно было самым проветриваемым и веселым на улице Сан-Блас. Мы использовали его для посещений, офиса, сделок, интервью и как просто место, чтобы нам встретиться.

Стол дона Рамона в «Джэпи» имел несколько нерушимых законов, утвержденных обычаем. Он был первым, кто приходил, из-за своего расписания учителя до четырех вечера. Больше шести человек не помещались за столом. Мы избрали свои места, и считалось дурным тоном подставлять другие стулья, когда не все помещались. За стаж и ранг его дружбы Херман

садился по его правую руку с первого дня. Он был ответственен за его материальные дела. Они решались, хотя он этого не поручал, потому что мудрец имел врожденное призвание не касаться практической жизни. В те дни главным делом была продажа его книг в библиотеке департамента и завершение других дел перед поездкой в Барселону. Херман походил на хорошего сына больше, чем на секретаря.

Отношение дон Рамона к Альфонсо, наоборот, основывалось на самых сложных литературных и политических проблемах. Что касается Альваро, то он терялся, когда встречал его одного за столом, и нуждался в присутствии других, чтобы отправиться в плавание. Единственное человеческое существо, которое имело свободу в выборе места за столом, был Хосе Феликс. По вечерам дон Рамон не шел в «Джэпи», а направлялся в ближайшее кафе «Рома» со своими друзьями по испанской ссылке.

Последним, кто приходил за его стол, был я и с первого дня садился без личного права на стул Альваро Сепеды, пока тот находился в Нью-Йорке. Дон Рамон принимал меня как ученика, больше потому, что читал мои рассказы в «Эль Эспектадоре». Однако невозможно было себе представить, что я был с ним настолько самонадеян, что попросил его дать мне денег для моего путешествия с матерью в Аракатаку. Некоторое время спустя, по невероятной случайности, состоялся наш первый и единственный разговор наедине, когда я пришел в «Джэпи» раньше остальных, чтобы вернуть ему без свидетелей шесть песо, которые он мне давал.

– Привет, гений, – поприветствовал он меня, как всегда. Но что-то в моем лице его встревожило. – Вы заболели?

– Полагаю, что нет, сеньор, – ответил я ему взволнованно. – Почему?

– Я заметил, что вы осунулись, – сказал он, – но не придавайте моим словам значения, в эти дни мы все ходим затраханые в задницу.

Он спрятал шесть песо в бумажник скрытым жестом, как будто деньги были плохи для него.

– Я их принимаю, – сказал он, покраснев от стыда, – как воспоминание об одном очень бедном юноше, который способен оплатить долг без вытягивания из него кредиторами.

Я не знал, что сказать, погрузившись в молчание, тяжелое, как свинцовый рудник, в гвалте зала. Никогда я не грезил об удаче той встречи. У меня было впечатление, что в этом общем шуме друзей каждый вносит свою лепту в общую неразбериху, недостатки и достоинства каждого смешивались друг с другом. Но никогда мне не приходило в голову, что я мог разговаривать об искусстве и славе наедине с человеком, занесенным уже много лет в энциклопедии. Сколько раз на рассвете, пока я читал в одиночестве моей комнаты, я воображал волнующие диалоги, которые я хотел бы вести с ним о моих литературных сомнениях, но при солнечном свете они растворялись без остатка. Моя робость возрастала, когда врвался Альфонсо со своими чудовищными идеями, или Херман оспаривал поспешное мнение маэстро, или Альваро отбивал охоту своим проектом, который выводил нас из себя.

К счастью, в тот день в «Джэпи» дон Рамон взял на себя инициативу расспросить меня о том, как продвигаются мои чтения. Тогда я читал все, что мог найти на испанском из потеряннного поколения. С особым вниманием к Фолкнеру, конечно, которого я выслеживал, с кровавой тайной бритвенного ножа, из какого-то странного страха, что в конечном счете он окажется не больше, чем изворотливый риторик. После того как я это сказал, меня охватил стыд, что это было похоже на провокацию, и я попытался сгладить ситуацию, но дон Рамон не дал мне времени.

– Не беспокойся, Габито, – ответил он мне невозмутимо. – Если Фолкнер окажется в Барранкилье, он появится и за этим столом.

С другой стороны, я обратил его внимание на то, что Рамон Гомес де ла Серна заинтересовал меня так, что я процитировал его в «Жирафе» наравне с другими бесспорными романистами. Но объяснил ему, что сделал это не из-за его романов, потому что, кроме «Шале роз»,



мне мало что нравилось у него, меня интересовала дерзость его гения и словесного таланта, но только как ритмическая гимнастика, чтобы научиться писать. В этом смысле я не помню жанра более интеллектуального, чем жанр его знаменитых грегери. Дон Рамон прервал меня своей язвительной улыбкой:

– Опасность для вас заключается в том, что, не осознавая того, вы также учитесь писать плохо.

Тем не менее, прежде чем закрыть тему, я узнал, что посреди его фосфоресцирующего беспорядка Гомес де ла Серна был хорошим поэтом. Такими были его ответы, немедленными и мудрыми, и мне едва доставало нервов, чтобы усвоить их, ослепленному страхом, что кто-то прервет тот единственный случай. Но он знал, как распорядиться случаем. Его обычный официант принес кока-колу к одиннадцати тридцати, и он, казалось, не заметил этого, но выпил ее глотками с самокруткой, не прерывая объяснений. Большинство клиентов приветствовали его громко от двери: «Как дела, дон Рамон?» И он отвечал, не глядя на них, взмахом своей руки артиста.

Пока дон Рамон говорил, он направлял украдкой взгляды на кожаную папку для бумаг, которую я сжимал обеими руками, пока слушал. Когда он закончил пить первую кока-колу, скрутил сигарету, как отвертку, и заказал вторую. Я попросил себе тоже, хорошо зная, что за этим столом каждый платит за свое. В конце концов он спросил меня, что это за папка для бумаг, такая загадочная, в которую я вцепился, как в доску при кораблекрушении.

Я рассказал ему правду: это была первая глава, пока еще в черновике, романа, который был начат по возвращении из Катаки с моей матерью. С решительностью, на которую я никогда вновь не был способен на перекрестке жизни или смерти, я положил на стол папку для бумаг напротив него, открытую как бы случайно. Он уставился на меня своими прозрачными глазами опасной синевы и спросил немного удивленно:

– Вы позволите?

Она была напечатана на машинке с бесчисленными исправлениями, в рулонах бумаги для печати, сложенных, как мехи аккордеона. Он надел, не торопясь, очки для чтения, развернул ленты бумаги с профессиональным мастерством и устроил их на столе. Он читал без единого жеста, без складки кожи, без изменения дыхания, едва колеблющегося в ритме его мыслей. Когда он закончил две полные ленты, он вновь сложил их молча со средневековым искусством и закрыл папку для бумаг. Тогда он спрятал очки в чехол и сунул его в карман.

– Видно, что это еще сырой материал, что логично, – сказал он мне с большой сердечностью. – Но это хорошо.

Он сделал какие-то сторонние замечания насчет управления временем, которое было моей проблемой жизни и смерти, несомненно, самой трудной, и добавил:

– Вам надо осознавать, что драма уже произошла и что персонажи нужны там, только чтобы ее воскресить, так что вы должны управлять двумя временами.

После нескольких технических уточнений, которые мне не удалось оценить по моей незрелости, он посоветовал мне не называть город в романе Барранкилья, как я это решил в черновике, потому что это название настолько связано с реальностью, что оставляет мало пространства читателю для воображения. И закончил насмешливым тоном:

– Или станьте мужланом и надейтесь на то, что оно упадет с неба. В конце концов, Афины Софокла никогда не были теми же Афинами, что в «Антигоне».

Но то, чему я следовал всегда буквально, было его напутствие, с которым он простился со мной в тот вечер:

– Я благодарен вам за любезность и отвечу на нее советом: не показывайте никогда никому черновик чего угодно из того, что будет вами написано.

Это был мой единственный разговор с глазу на глаз с ним, но стоил всех, потому что он уехал в Барселону 15 апреля 1950-го, как и предполагалось уже больше года, непохожий на себя в костюме черного сукна и шляпе чиновника. Это напоминало проводы ребенка в школу.

У него было хорошее здоровье и нетронутая ясность ума в шестьдесят восемь лет, но мы провожали его в аэропорт и прощались с ним как с кем-то, кто возвращался в свою родную землю, чтобы присутствовать на собственных похоронах.

Только на следующий день, когда мы пришли за наш стол в «Джэпи», мы осознали пустоту, которую он оставил на своем стуле, и никто не решился занять его, пока мы не пришли к согласию, что это будет Херман. Нам понадобилось несколько дней, чтобы привыкать к новому ритму ежедневного разговора, до тех пор пока не прибыло первое письмо дона Рамона, которое казалось написанным не фиолетовыми чернилами с его тщательной каллиграфией, а живым голосом. Так началась переписка со всеми через Хермана, частая и интенсивная, в которой он рассказывал очень мало о своей жизни и много из жизни Испании, которую он продолжал считать вражеской землей, пока был жив Франко, и поддерживал испанскую империю в Каталонии.

Идея о еженедельнике принадлежала Альфонсо Фуэнмайору и возникла задолго до тех дней, но у меня есть впечатление, что толкнул ее в путешествие каталанский мудрец. Собравшимся в кафе «Рома» Альфонсо сообщил, что у него все готово для его запуска. Это будет еженедельник-таблоид двадцати страниц, журналистский и литературный, чье название «Хроника» никому не сказало бы много. Нам самим казалось безумием, что после четырех лет, когда Альфонсо Фуэнмайор не мог получить средств там, где они были в избытке, он добыл их среди ремесленников, автомехаников, чиновников в отставке и даже сочувствующих владельцев забегаловок, которые согласились оплачивать объявления тростниковым ромом. Но были причины, чтобы думать, что еженедельник будет хорошо принят в городе, который в промышленной спешке и гражданском тщеславии сохранял живое преклонение перед своими поэтами.

Помимо нас, было мало постоянных сотрудников. Единственным профессионалом с хорошим опытом был Карлос Осियो Ногuera, Оракул Осियो, с особенным обаянием и огромным телом, правительственный чиновник и цензор в «Эль Насьональ», где он работал вместе с Альваро Сепедой и Херманом Варгасом. Другим был Роберто (Боб) Прието, редкий эрудит, из высших классов общества, который мог думать по-английски или по-французски так же хорошо, как и на испанском, и играть на пианино по памяти множество произведений великих композиторов. Наименее понятный из списка, который пришел в голову Альфонсо Фуэнмайору, был Хулио Марио Сантодоминго. Он его навязал безо всяких условий, только потому, что тот намеревался быть особенным человеком, но мы не понимали, почему он фигурирует в списке издательского совета. Нам казалось, что он был предназначен для того, чтобы стать южноамериканским Рокфеллером, умным, образованным и сердечным, но приговоренным к туманам власти, которой ему не избежать. Очень немногие знали, как знали это мы, четыре зачинщика журнала, что тайная мечта его в двадцать пять лет заключалась в том, чтобы быть писателем.

Директором, по собственному праву, был бы Альфонсо. Херман Варгас был репортером, с которым я надеялся делить кабинет. Альваро Сепеда отправлял бы статьи в свободные часы из Университета Колумбия в Нью-Йорке. В конце концов, никто не был более свободен и беспокоен, чем я, чтобы быть названным главным редактором независимого и неопределенного еженедельника, и так я им сделался.

У Альфонсо был запасен архив, который он собирал годами и усиленной работой, произведенной в последние шесть месяцев, с издательскими заметками, литературными материалами, образцовыми репортажами и обещаниями коммерческих объявлений его богатых друзей. Главный редактор без определенного расписания и с заработной платой лучшей, чем заработная плата любого журналиста моей категории, но обусловленной доходами будущего,

был также подготовлен для того, чтобы получить журнал хорошим и вовремя. В конце концов, в субботу следующей недели, когда я вошел в нашу небольшую комнату в «Эль Эральдо» в пять часов вечера, Альфонсо Фуэнмайор даже не поднял взгляда, заканчивая свой редакционный материал.

– Поспешь со своими незадачами, маэстро, – сказал мне он, – на следующей неделе выходит «Хроника».

Я не напугался, потому что уже слышал эту фразу два предыдущих раза. Однако третья была победной. Самым большим журналистским происшествием недели, с абсолютным преимуществом, было прибытие бразильского футболиста Элено де Фрейтас в «Депортиво хуниор», но мы не пытались соперничать здесь со специализированной прессой, а хотели преподнести это как большое культурное и общественное событие. «Хроника» не поддавалась на классовые различия прессы, и меньше всего в отношении чего-то столь популярного, как футбол. Решение было единогласным, и эффективная работа началась.

Мы приготовили столько материала в ожидании, что единственным в последний час был репортаж об Элено, написанный Херманом Варгасом, мастером жанра и футбольным фанатом. Первый номер появился аккуратно на рассвете в точках продаж в субботу, 29 апреля 1950-го, день Святой Каталины де Сьена, писательницы синих писем на самой красивой площади мира. «Хроника» была напечатана с моим девизом последнего часа под названием: «Его лучший уик-энд». Мы знали, что соперничали с неудобоваримым пуризмом, который преобладал в колумбийской прессе тех лет, но у того, что мы хотели сказать девизом, не было эквивалента с теми же оттенками в испанском языке. На обложке был цветной рисунок Элено де Фрейтас, сделанный Альфонсо Мело, единственным портретистом из наших трех художников.

Издание, несмотря на спешку последнего часа и отсутствие рекламы, разошлось много раньше того, как редакция в полном составе прибыла на городской стадион на следующий день, в воскресенье 30 апреля, где разыгрывалась звездная партия между «Депортиво хуниор» и «Спортинг», обе команды из Барранкильи. В самой газете единства не было, потому что Херман и Альваро были привержены «Стортингу», а Альфонсо и я принадлежали «Депортиво хуниор». Однако только имя Элено и превосходный репортаж Хермана Варгаса поддерживали заблуждение, что «Хроника» была, в конце концов, крупным спортивным журналом, которого только и ждала Колумбия.

Стадион был заполнен. На шестой минуте первого периода Элено де Фрейтас забил свой первый гол в Колумбии с левого края поля. Несмотря на то что в финале он победил «Спортинг» со счетом 3:2, вечер принадлежал Элено, а потом нам, из-за меткости пророческой обложки. Однако не было ни в человеческой, ни в божественной власти способа донести до публики, что «Хроника» не спортивный журнал, а культурный еженедельник, который чествовал Элено де Фрейтас как одну из великих новостей года.

Это не было везением новичков. Трое из нас обычно обращались к теме футбола в своих колонках из общего интереса, включая Хермана Варгаса, конечно. Альфонсо Фуэнмайор был пунктуальным любителем футбола, а Альваро Сепеда был в течение нескольких лет корреспондентом Колумбии в «Спортинг ньюс», Сент-Луис, Миссури. Однако читатели, которых мы жаждали, не приняли с распростертыми объятиями следующие номера, и фанаты стадионов оставили нас без сожалений.

Стараясь залатать дыру, мы решили на издательском совете, что я напишу центральное интервью с Себастианом Бераскочеей, другой бразильской звездой из «Депортиво хуниор», с надеждой на то, что он объединит футбол и литературу. Так много раз я старался сделать с другими тайными науками в моей ежедневной колонке «Лихорадка мяча», которой Луис Кармело Корреа заразил меня, во вратарях Катаки, я опустился почти до нуля. Кроме того, я принадлежал к ранним фанатам карибского бейсбола, или игры в мяч, как говорили мы на местном языке, однако я принял вызов.

Моей моделью, конечно, был репортаж Хермана Варгаса. Я чувствовал себя успокоенным длинным разговором с Бераскочеей, человеком умным и любезным, с очень хорошим чувством образа, который он хотел передать своей публике. Плохо было, что я определил его и описал как образцового баска, только из-за его фамилии, не останавливаясь на деталях, состоящих в том, что он был темно-коричневым негром из лучшего африканского рода. Это был большой промах моей жизни и самый худший момент для журнала. Так что меня узнали в письме читателя, который определил меня как спортивного журналиста, неспособного отличить мяч от трамвая. Сам Херман Варгас, такой скрупулезный в своих суждениях, утверждал несколько лет спустя в книге воспоминаний, что репортаж о Бераскочее был худшим из всего того, что я написал. Я думаю, что он преувеличивал, но не слишком, потому что никто не знал профессию, как он, с хрониками и репортажами, написанными в таком плавном тоне, что они казались диктовками живого голоса линотиписту.

Мы не отказались от футбола или от бейсбола, потому что оба были популярными на карибском берегу, но мы увеличили новостные темы и литературные новинки. Все было бесполезно, никогда нам не удалось преодолеть заблуждение, что «Хроника» была спортивным журналом, но зато фанаты стадиона раскусили нас и оставили на милость судьбы. Так что мы продолжали делать газету, как мы себя и заявили, хотя третью неделю плавали в облаках двусмысленности.

Меня это не устрасило. Путешествие в Катаку с моей матерью, исторический разговор с доном Рамоном Виньесом и моя сердечная связь с группой из Барранкильи наполнили меня новым дыханием, которым я дышу и по сей день. С тех пор я не заработал ни одного сентаво без помощи печатной машинки. И это мне кажется более похвальным, чем можно было думать, так как первые авторские права, которые позволили мне жить рассказами и романами, мне оплатили в сорок с чем-то лет, после выхода четырех книг с ничтожной прибылью. Перед этим моя жизнь проходила в вечной тревоге перед ловушками в зарослях кустарника, курбетах и иллюзиях, в попытках осмеивать бесчисленные соблазны, старавшиеся превратить меня в кого угодно, кроме писателя.

### 3

Свершилась беда Аракатаки. Умер дедушка, а вместе с его смертью пришло новое горе, новая смерть, не менее страшная – умерла сама Душа нашего дома.

Постепенно, но как-то очень быстро, стало изменяться все то, на что имела влияние его власть. А ведь это был целый мир. Это была наша семья. И со смертью дедушки все стало погружаться в какую-то вязкую, быстро затягивающую в себя неопределенность, абсолютно лишенную мало-мальской устойчивости. Угасало то, что еще оставалось от его бывшей власти. Власти, так сильно влиявшей на жизнь семьи. И с тех самых пор, как никто не вернулся на поезде, общая наша судьба – да и каждого по отдельности члена семейства – все больше и больше стала терять четкие очертания. Пока вовсе не растворилась в неясном и сером пейзаже.

Когда бабушка почти утратила зрение и рассудок, мои родители взяли ее к себе, и это благотворно повлияло на старую женщину.

Тетя Франсиска, девственница и страдалница, оставалась прежней в своей невероятной болтливости и грубых поговорах и даже отказалась отдать ключи от кладбища и церковные доходы от пожертвований причастников, чтобы воздвигнуть памятник, рассчитывая на то, что, дескать, Бог позовет ее, как только на это будет его воля. В один какой-то день она села у двери своей комнаты шить саван самой себе. И раскроила несколько чистых простыней с таким мастерством и ловкостью, что даже смерть покорно ожидала окончания ее работы аж больше двух недель. После окончания столь важной по замыслу работы, пребывая в прекрасном расположении духа, не испытывая вообще никаких угрызений и тягостей, она легла спать. Даже и не попрощавшись ни с кем. Отошла тетюшка в своем самом лучшем состоянии здоровья. Лишь после того как все произошло, мы узнали, что накануне ночью она заполнила все необходимые документы о смерти и распорядилась насчет своих похорон.

Эльвира Карильо, которая также по своей собственной воле так никогда и не познала мужчины, осталась в огромном доме в полном одиночестве. Иногда в полночь она просыпалась от звука кашля в соседних спальнях, но эти звуки никогда особенно не тревожили ее, потому что за много лет она успела привыкнуть к своеобычности потусторонней жизни. А ее родной брат-близнец Эстебан Карильо, напротив, пребывал в здравом уме и был энергичен до очень пожилого возраста. Однажды, завтракая с ним, я напомнил ему во всех возможных визуальных подробностях, как его отца пытались выбросить за борт шлюпки у Сьенаги: толпа подняла его на плечи и раскачивала, как погонщики выючных животных Санчо Пансу.

Папалело к тому времени уже умер, и я рассказал эту историю дяде Эстебану, потому что она мне казалась занятной и еще потому, что не рассказывал об этом никому с тех самых пор, как сам услышал об этом.

Но дядя вдруг в ярости вскочил с места, желая узнать от меня все детали и нюансы и даже имена тех, кто пытался утопить его отца. Я рассказал ему все, о чем знал сам: что Папалело даже не защищался, а ведь слыл отменным стрелком, который в течение двух гражданских войн много раз бывал на линии огня, спал с револьвером под подушкой и уже в мирное время убил на дуэли противника. В любом случае, сказал мне Эстебан, никогда не поздно родственникам покататься за него. Это был закон Гуахиры: за оскорбление члена твоей семьи непременно должны заплатить все мужчины семьи обидчика. Мой дядя Эстебан был настолько решителен, что вытащил револьвер из-за пояса и положил его на стол, словно для того, чтобы не терять времени, пока меня расспрашивает.

С тех пор всякий раз, как мы встречались с ним в наших скитаниях, я возвращал ему надежду, что вспомню имена обидчиков. Однажды ночью он появился в моей небольшой комнатке при издательстве, как раз в ту пору, когда я занимался изучением прошлого семьи

для моего первого романа, который не закончил, и предложил вместе провести расследование того давнего покушения на честь и жизнь. Он никогда не сдавался...

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.